



**СОЛ**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

**БЕЛЛОУ**

*ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОГИ МАРЧА*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я   К Л А С С И К А

**Сол Беллоу**  
**Приключения Оги Марча**  
Серия «Нобелевская премия»  
Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68819052](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68819052)*  
*Приключения Оги Марча: Издательство АСТ; М.; 2023*  
*ISBN 978-5-17-147328-0*

### **Аннотация**

Сол Беллоу – один из самых значительных англоязычных писателей XX века. Его талант отмечен высшей литературной наградой США – Пулитцеровской премией и высшей литературной премией мира – Нобелевской. Роман «Приключения Оги Марча», рисующий портрет типичного американского парня на фоне красочной панорамы американской жизни первой половины XX века, был удостоен национальной книжной премии США.

Оги Марчу сакраментально не везет. Не везет в детстве, в юности и в зрелые годы. Буквально каждая его попытка хоть как-то устроиться в жизни и обрести хотя бы тень стабильности завершается катастрофическим провалом.

Однако он не слишком унывает – ведь жизнь продолжается! И все еще будет – и денежная работа, и невероятные приключения, и женщины, женщины, женщины...

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	27
Глава 3	55
Глава 4	83
Глава 5	114
Глава 6	162
Глава 7	205
Глава 8	241
Конец ознакомительного фрагмента.	257

# Сол Беллоу

# Приключения Оги Марча

*Посвящается моему отцу*

Saul Bellow

THE ADVENTURE OF AUGIE MARCH

© The Estate of Saul Bellow, 1949, 1951, 1952, 1953

Copyright renewed © The Estate of Saul Bellow, 1977, 1979,

1980, 1981

© Перевод. В. Бернацкая, 2022

© Перевод. Е. Осенева, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

# Глава 1

Я американец, родился в Чикаго – мрачноватый город этот Чикаго, – держусь независимо – так себя приучил и имею собственное мнение: кто первым постучит, того и впустят; иногда стук в дверь бывает вполне невинный, иногда не очень. Но, как говорил Гераклит, судьба человека – его характер, и, в конце концов, характер стука ничем не скроешь – ни обивкой двери, ни толщиной перчатки.

Каждый знает – все тайное становится явным; если скрываешь одно, то потянется и другое.

Мои родители мало что значили для меня, но Маму я любил. Она была простовата, и я усвоил не ее нравоучения, а наглядные уроки. Чему она могла научить, бедняжка? Мы с братьями любили ее. Я говорю от лица обоих: старший вполне разумный человек, а вот за младшего, Джорджи, я просто обязан говорить, ведь он слабоумный с рождения, но в его любви к матери нет никаких сомнений: у него была даже песня, он распевал ее, передвигаясь на негнущихся ногах на заднем дворе вдоль ограды из колючей проволоки:

Джорджи Марч, Оги, Сайми,  
Винни Марч – все любят мамми.

Он ошибался лишь в том, что касалось Винни, пуделя

Бабушки Лош, – старой, одышливой, закормленной собаки. Мама прислуживала Винни, так же как и Бабушке Лош. Тяжело дыша и поминутно испуская газы, собака лежала рядом с креслом старой дамы на подушке с вышитым изображением бербера, целящегося во льва. Она принадлежала Бабуле лично, входила в ее окружение; остальные были подданными, особенно Мама. Мама приносила собаке еду, вручала миску Бабуле, и Винни вкушала пищу у бабушкиных ног – можно сказать, из рук старой дамы. Ручки и ножки Бабули были крошечными, гармошка фильдекосовых чулок спускалась в серые тапочки – серые войлочные тапочки, такой цвет угнетает душу – с розовыми ленточками. У Мамы же ноги были громадные; дома она ходила в мужских ботинках, обычно без шнурков, и в чепце, смахивающем на причудливое хлопчатобумажное подобие человеческого мозга. Кроткая, крупная, с круглыми, как у Джорджи, глазами, зелеными и мягкими, с удлинённым нежным и свежим лицом. С покрасневшими от работы руками, с оставшимися редкими зубами, готовыми принять возможный тычок; как и Саймон, она носила обтрепанный длинный свитер. На круглые глаза Мама надевала круглые очки, которые ей вручили в благотворительной аптеке на Гаррисон-стрит, куда я сам ее отвел. Наученный Бабушкой Лош, я отправился туда, чтобы соврать. Теперь мне ясно, что врать было совсем не обязательно, но тогда все думали, будто необходимо; особенно на этом настаивала Бабушка Лош – одна из последовательниц

Макиавелли на нашей улочке и в ближайших окрестностях. Итак, Бабуля, заранее состряпавшая это вранье, – она, должно быть, часами вынашивала его в своей холодной комнатенке, согревая крошечное тельце под периной, – поучала меня за завтраком. Она исходила из того, что наша мать не очень умна. То, что в данной ситуации ум, возможно, и не нужен, как-то не приходило нам в голову; главное – требовалась победа. В аптеке могли поинтересоваться, почему благотворительная организация не заплатила за очки. Разговор об организации поддерживать не надо, просто сказать, что отец то присылает нам деньги, то нет, и Мама вынуждена держать квартирантов. Тут действительно следовало проявить такт и осторожность – что-то говорить, о чем-то умалчивать. Они это понимали, и я в свои девять лет улавливал разницу. Не то что мой брат Саймон – тот был слишком прямолинеен и не гибок; кроме того, из книг он вынес представления о чести английского школьника. «Школьные дни Тома Брауна» долгие годы оказывали на него влияние, разделить которое мы не могли.

Саймон – скуластый блондин с большими серыми глазами и руками игрока в крикет. Его руки я оцениваю по иллюстрациям – сами мы ни во что не играли, кроме софтбола. Его слабость к английскому стилю вступала в противоречие с ненавистью к Георгу III<sup>1</sup>. В то время мэр приказал школь-

---

<sup>1</sup> *Георг III* (1738–1820) – король Великобритании, один из вдохновителей английской колониальной политики и борьбы с восставшими североамерикански-

ному начальству приобрести книги по истории, где деяния этого короля оценивались весьма мрачно. Корнуоллис<sup>2</sup> возбуждал особое негодование Саймона. Меня восхищал патриотический порыв брата, его глубоко личная ярость, вызываемая генералом, и удовлетворение от капитуляции того в Йорктауне – оно частенько накатывало на него во время ланча, когда мы ели сандвичи с болонской колбасой. Бабуле в полдень полагался отварной цыпленок; иногда стриженному под ежика малышу Джорджи перепадала его любимая шейка, он дул на этот хребтообразный орган не столько чтобы его охладить, сколько из любви к нему. Искреннее чувство гордости за одержанные военные победы мешало Саймону преуспеть в аптеке, где требовалось ловчить; он был слишком высокомерен, чтобы лгать, и мог все испортить. Мне же можно было доверить такое дело, ибо я получал от него удовольствие. Любил предварительно разработать стратегию. Обладал разного рода энтузиазмом: как у Саймона, хотя Корнуоллис не вызывал у меня таких сильных чувств, так и присущим Бабушке Лош. В том, что мне следовало сказать в аптеке, была толика правды: у нас действительно жила квартирантка. Ею являлась Бабушка Лош, не приходившаяся нам родственницей. Бабуле помогали два сына: один жил в Цинциннати, другой – в Расине (штат Висконсин). Невесткам

---

ми колониями. – *Здесь и далее примеч. пер.*

<sup>2</sup> Чарльз Корнуоллис (1738–1805) – командовал в чине генерала английскими соединениями во время Войны за независимость в Северной Америке (1776–1783).

она на дух была не нужна, и потому Бабуля, вдова могущественного одесского дельца, казавшегося нам божеством, – лысый, заросший щетиной, с большим толстым носом, однобортный сюртук сидел на нем как броня, жилет основательно застегнут на все пуговицы (его подсиненная фотография, увеличенная и отретушированная господином Луловым, находилась в гостиной, засунутая за оправу стоявшего на полу зеркала; свод печи как раз граничил с туловищем бизнесмена) – предпочитала жить у нас. За эти долгие годы Бабуля приучилась вести хозяйство, распоряжаться, управлять домом, планировать, учитывать, проявлять изобретательность и плести интриги на разных языках. Она хвасталась, что знает французский и немецкий, не считая русского, польского и идиш; но кто, кроме господина Лулова, художника-ретушера с Дивижн-стрит, мог проверить, насколько она владеет французским? А тот, сутулый и галантный любитель чая, тоже вызывал сомнения. Впрочем, он работал таксистом в Париже, и, если это было правдой, мог говорить по-французски, как мог выстукивать карандашом на зубах мелодии или петь, отбивая ритм большим пальцем на столе, зажав в руке пригоршню монет, или играть в шахматы.

Бабушка Лош играла и в шахматы и в клабиаш. Она отпускала язвительные замечания, глаза ее метали молнии. В клабиаш она играла с господином Крейндлом, нашим соседом, который и научил ее этой игре. Плотный мужчина с короткими пальцами и огромным животом, он с силой бил по

столу, сбрасывая карты, и вопил:

– Shtoch! Yasch! Menél! Klabyasch!<sup>3</sup>

А Бабуля бросала на него саркастические взгляды.

После его ухода она часто повторяла:

– Если дружишь с венгром, враг тебе не нужен.

Но в господине Крейнделе не было ничего враждебного.

Просто иногда его голос звучал угрожающе – привычка сержанта рявкать перед строем. В свое время он служил в австро-венгерских войсках, и в нем осталось что-то от прежнего служаки: вывернутая от постоянного перемещения артиллерийских орудий шея, красное, обветренное лицо, мощная челюсть и золотые коронки на зубах, косящие зеленые глаза и мягкие, коротко подстриженные волосы – под Наполеона. Ноги его образовывали угол, который привел бы в восхищение Фридриха Великого, но для зачисления в гвардию ему не хватало около фута росту. Держался он очень независимо. Они с женой – женщиной спокойной и скромной на людях, но вздорной и крикливой дома, – а также сыном, изучающим стоматологию, жили в цокольном этаже. Их сын Котце по вечерам работал в аптеке на углу и ходил в училище при окружной больнице; это он рассказал Бабуле о бесплатной раздаче лекарств бедным. Точнее, старуха сама послала за ним, чтобы узнать, чем можно поживиться в государственных заведениях. Она требовала к себе и других: мясника, бакалейщика, торговца фруктами, – принимала их на кухне и

---

<sup>3</sup> Эмоциональные выкрики на идиш.

каждому объясняла, что Марчам надо делать скидки. Маме при этом следовало стоять рядом. Старуха внушала им:

– Вы сами все видите. Разве нужны слова? В доме нет мужчины, а детей надо растить.

Это был ее обычный аргумент. Когда пришел социальный работник Лубин, все осмотрел и уселся на кухне, самоуверенный, плешивый, в очках с золотой оправой, с приятной полнотой и снисходительной ухмылкой, Бабуля накинулась на него:

– Как тут можно растить детей?

Он слушал, пытаясь сохранять спокойствие, но постепенно становился похож на человека, который с трудом держит себя в руках.

– Что ж, моя дорогая, миссис Марч могла бы повесить вашу квартплату, – сказал он.

Бабуля, должно быть, много чего ему наговорила, потому что временами выпроваживала нас из кухни, чтобы остаться с ним наедине.

– Вы хоть представляете, что тут было бы без меня? Вы должны благодарить меня за то, что я не даю семье развалиться. – Не сомневаюсь, она еще прибавила: – Вот когда я умру, мистер Лубин, у вас действительно появятся проблемы.

На сто процентов уверен, что именно так она и сказала. Нам же Бабуля не рассказывала ничего такого, из чего можно было заключить, будто когда-нибудь придет конец ее влады-

честву. Впрочем, подобное заявление повергло бы нас в глубокий шок, и она, чудесным образом проникая в наши мысли, принадлежала к владыкам, точно рассчитывающим уровень любви, уважения и страха в своих подданных, и потому понимала, как это нас потрясет. А вот Лубину по стратегическим причинам и еще потому, что выражала чувства, которые испытывала на самом деле, она должна была это сказать. Он выслушивал ее со скрытым раздражением («бывают же такие клиенты»), пытаясь казаться хозяином положения. Котелок он держал на коленях (коротковатые брюки открывали белые носки и увесистые ботинки – черные, потрескавшиеся, со вздутыми носами) и смотрел на него, как бы решая, стоит ли дать волю гневу.

– Я плачу сколько могу, – говорила Бабуля.

Она извлекла из-под шали портсигар, ножницами для рукоделия разрезала напополам сигарету «Мурад» и взяла мундштук. В то время женщины еще не курили. Кроме интеллигенток – к ним она причисляла себя. Ее лучшие планы рождались, когда она сжимала мундштук потемневшими деснами, за которыми зрели хитрость, злоба и приказания. Вся в морщинах, как старый бумажный пакет, она была тираном, жестоким и коварным, когтистым старым хищником большевистского толка; ее маленькие серые ножки в ленточках покоились на табуретке, изготовленной Саймоном на уроке труда, а рядышком на подушке лежала старушка Винни со спутанной грязной шерстью, и вонь от нее шла

по всему дому. То, что мудрость и недовольство не всегда ходят рука об руку, я узнал не от этой старухи. Угодить ей было невозможно. Например Крейндла, на которого мы всегда могли положиться, Крейндла, приносившего нам уголь, когда Мама болела, и уговорившего Котце выписывать нам бесплатные рецепты, она называла «поганый венгр» или «венгерская свинья»; миссис Крейндл звала «затаившаяся гусыня», Лубина – «сын сапожника», дантиста – «мясник», а мясника – «застенчивый жулик». Дантиста она ненавидела – тот неоднократно пытался подправить ей протез, но она обвинила его в том, что, делая снимки, он чуть не сжег ей челюсть. Тогда она просто вырвала его руки изо рта. Я сам это видел: невозмутимый, квадратного телосложения доктор Верник, плечи которого могли бы удержать медведя, был с ней предельно внимателен, сосредоточен, реагировал на все ее сдавленные крики и не терял выдержки, когда она начинала царапаться. Я с трудом выносил это зрелище, и, не сомневаюсь, доктору Вернику тоже было меня жаль, но кому-то, Саймону или мне, приходилось повсюду ее сопровождать. Здесь же ей особенно требовался свидетель жестокости и грубости Верника, не говоря уж о плече, на которое она могла бы опереться, еле волоча ноги на пути к дому. В десять лет я был ненамного ее ниже и легко поддерживал немощное тело.

– Ты видел, как он заграбастал мое лицо своей лапищей и не давал дышать? – говорила она. – Бог создал его мясником. Зачем он стал дантистом? У него грубые руки. Нежное

прикосновение – вот что отличает настоящего стоматолога. Если у него не руки, а крюки, то нечего идти в дантисты. Но его жена из кожи вон лезла, чтобы выучить его на дантиста. А в результате страдаю я.

Остальные должны были ходить в бесплатную амбулаторию – мне это представлялось чем-то вроде множества стоматологических кресел, сотен кресел, стоящих на огромном пространстве, подобном оружейному складу; на фарфоровых крутящихся подносах – плевательницы с изображением виноградных лоз, буры, вздымающие острия, как насекомые лапки, газовые горелки; и все это в грозном, внушающем ужас строении – одном из известняковых домов на Гаррисон-стрит, по которой ходили громоздкие красные трамваи с железными решетками на окнах. Они грохотали, звенели, тормоза пытели и свистели – и в слякотный зимний день, и в летний, когда каменные мостовые раскалялись от солнца, пропахшие пеплом, дымом, пылью прерий; особенно долгие остановки были у больниц, где из вагонов вываливались инвалиды, калеки, горбуны, люди на костылях, со штырями в костях, страдающие от зубной боли, а также все остальные.

Итак, перед походом с Мамой за очками старуха всегда инструктировала меня, а я должен был сидеть перед ней и внимательно слушать. Маме тоже следовало присутствовать: проколы не допускались. Ей предписывалось молчать.

– Помни, Ребекка, – повторяла Бабуля, – на все вопросы отвечает он.

Покорная Мама даже «да» боялась произнести – сидела, сложив длинные руки на радужном платье, которое заставила надеть Бабуля. Никто из нас не унаследовал великолепный цвет ее кожи, как и форму изящного носа.

– Ничего не говори. Если тебе зададут вопрос, смотри на Оги – вот так. – И она показывала, как Маме следовало повернуться ко мне – настолько точно, чтобы при этом не уронить своего достоинства. – Сам не высовывайся. Только отвечай на вопросы, – учила она меня.

Мама очень волновалась – только бы я справился, исполнил все точно. Мы с Саймоном были чудом, случайностью; Джорджи – вот кто ее настоящий сын, ее судьба после незаслуженного дара.

– Оги, слушай Бабулю. Слушай, что она говорит, – только и могла она сказать, пока старуха развивала свой план.

– Когда они спросят: «Где твой отец?» – отвечай: «Не знаю, мисс». Не важно, сколько ей лет, все равно говори «мисс». Если она захочет знать, когда вы последний раз получали от него известия, ты должен ответить, что два года назад он прислал денежный перевод из Буффало, и больше никто о нем ничего не слышал. И ни слова о благотворительных организациях. Даже не упоминай о них, слышишь? Спросит, сколько платите за квартиру, скажи – восемнадцать долларов. Спросит, откуда деньги, скажи – держим жильцов. Сколько? Двоих. Теперь повтори: какова арендная плата?

– Восемнадцать долларов.

– А жильцов сколько?

– Двое.

– И сколько они платят?

– А что я должен сказать?

– Каждый восемь долларов в неделю.

– Восемь долларов.

– Если твой доход шестьдесят четыре доллара в месяц, ты не можешь обратиться к платному врачу. За одни глазные капли, которыми он обжег мне глаза, я заплатила пятерку. А вот эти очки, – похлопала она рукой по футляру, – обошлись мне в десять долларов за оправу и пятнадцать – за стекла.

Имя моего отца упоминалось только в случае крайней необходимости – вот как сейчас. Я утверждал, что помню его, Саймон категорически не соглашался со мной и был прав. Мне нравилось воображать нашу встречу.

– Он носил форму, – говорил я. – Точно помню. Он был солдатом.

– Как бы не так! Ничего ты не помнишь!

– Может, моряком.

– Черта с два! Он водил грузовик прачечной «Братья Холл» по Маршфилду; шофером – вот кем он был! А ты говоришь – носил форму. Как же! Выходит – обезьянка видит, обезьянка слышит, обезьянка говорит<sup>4</sup>.

Эти обезьянки очень нас занимали. Они стояли на турке-

---

<sup>4</sup> Имеется в виду нэцке с фигурками трех обезьянок, одна из которых закрывает глаза, вторая – рот, третья – уши.

станской дорожке на комод, их глаза, уши и рты были закрыты: не вижу зла, не произношу зла, не слышу зла – низшая домашняя троица. Преимущество таких божков в том, что вы можете обращаться с ними вольно. «Требую тишины в здании суда; хочет говорить обезьянка; говорите, обезьянка, говорите». «Обезьянка играла с бамбуковой палкой на лужайке...» В то же время обезьянки могли быть могущественными, вызывать благоговейный трепет и даже становиться серьезными социальными критиками, когда старуха, подобно далай-ламе – она всегда ассоциировалась у меня с Востоком, – указывала на сидящую на корточках коричневую троицу с раскрашенными ярко-красной краской ртами и ноздрями и глубокомысленно – ее враждебность к миру подчас достигала величия – изрекала:

– Никто не заставляет тебя всех любить – просто будь честным, ehrlich<sup>5</sup>. Не будь слишком активным. Чем больше любишь людей, тем больше они тебе мешают. Ребенок любит, взрослый уважает. Уважение дороже любви. Вот эта средняя обезьянка – воплощенное уважение.

Нам никогда не приходило в голову, что сама она еще как грешила против этой обезьянки, крепко зажавшей себе рот, чтобы «не произносить зла»; никогда даже тень критики не туманила наши головы – особенно если кухня наполнялась обычно произносимыми правилами морали.

Бабуля читала нотации над головой бедняги Джорджи. Он

---

<sup>5</sup> Честным (нем.).

целовал собаку. Когда-то та была шустрой, кусачей компаньонкой старухи. Теперь же стала ленивой соней и заслуживала уважения за годы правильной, но не слишком приятной жизни. Однако Джорджи любил ее – и Бабулю, у которой целовал рукава, колени, обхватывая поочередно обеими руками то ногу, то плечо и выставив вперед нижнюю губу, – невинный неповоротливый увалень, ласковый, нежный, привязчивый; кофточка вздувалась на его маленькой попе, а короткие белесые волосы торчали, словно колючки на репейнике, или напоминали облученный подсолнух. Старуха позволяла ему обнимать ее и говорила что-то вроде:

– Эй ты, малыш, умный *junge*<sup>6</sup>, ты ведь любишь свою Бабулю, мой паж, мой кавалер. Молодчина. Ты знаешь, кто добр к тебе, кто дает тебе грызть шейки и крылышки? Ну кто? Кто дает тебе лапшу? Вот именно. Лапша скользкая, ее трудно подцепить вилкой и удержать в пальцах. Ты видел, как птичка тащит червяка? Червячок хочет остаться в земле. Он не хочет вылезать на поверхность. Ну ладно, ладно... ты совсем обмусолил мое платье. Оно стало мокрым.

Она резко отталкивала старческой негнущейся рукой его голову и призывала нас с Саймоном, никогда не забывая о своей обязанности учить уму-разуму, и мы в очередной раз слушали, как доверчивых, простодушных и любящих повсюду окружают хитрецы и злыдни, а также о бойцовских качествах птиц и червей и о пропащем, бездушном человечестве.

---

<sup>6</sup> Мальчик (нем.).

В качестве примера приводится Джорджи. Но наиглавнейшей иллюстрацией, подтверждающей правоту ее слов, являлась Мама, брошенная с тремя детьми, и все из-за своего простодушия и любовной зависимости. Бабушка Лош намекала, что теперь обретенную мудрость отдает второй семье, которой вынуждена руководить.

А что должна была думать Мама, когда при каждом удобном случае в разговоре всплывало имя отца? Она покорно слушала. Мне кажется, ей вспоминались какие-то мелочи: его любимое блюдо – возможно, мясо с картошкой, или капуста, или клюквенный соус; он мог не любить накрахмаленные воротнички или, наоборот, мягкие; мог приносить домой «Ивнинг Американ» или «Джорнал». Думала она так, потому что мысли ее были всегда незамысловаты, но ощущала покинутость, и неясные муки – сильные, хотя и неосознанные, – вносили смуту в ее простой ум. Не знаю, как она жила прежде, когда мы остались одни после ухода отца, но с появлением Бабули наша семейная жизнь пришла в порядок. Мама передала той бразды правления – хотя не уверен, что она знала об их существовании, – а сама взяла на себя всю черную работу; думаю, она принадлежала к женщинам, сраженным высшей любовной силой, – таких брал Зевс, принимая облик животного, а потом придумывал всякие отговорки, чтобы смягчить разгневанную жену. Не то чтобы я считал свою крупную кроткую неопрятную Маму, всегда что-то чистившую или перетаскивающую, красавицей бег-

лянкой, скрывавшейся от гнева сильных мира сего, или своего отца невозмутимым олимпийцем. Мама обметывала петли на верхнем этаже фабрики одежды на Уэллс-стрит, а отец развозил белье в прачечной – после его исчезновения у нас даже фотографии не осталось. И все же она занимает место среди этих жертв по праву непрекращающегося платежа. А что до мести со стороны женщины, то тут право первенства принадлежало Бабушке Лош, накладывающей наказания в соответствии с законами, популярными среди большинства замужних женщин.

И все же у старой дамы имелось сердце. Я не хочу сказать, что оно отсутствовало. У нее были черты тирана и снобистские воспоминания об одесском великолепии, слугах и гувернантках, но, побывав на вершине, она также хорошо знала, что такое терпеть неудачу. Я понял это позже, когда прочел некоторые романы, за которыми она посылала меня в библиотеку. Бабуля научила меня русским буквам, и потому я мог прочесть название. Ежегодно она перечитывала «Анну Каренину» и «Евгения Онегина». Время от времени я приносил не ту книгу, чем вызывал неукротимый гнев.

– Сколько раз тебе говорить, что не нужна мне книга, если это не роман? Ты даже не раскрыл ее. У тебя что, такие слабые пальцы? Как же ты умудряешься играть в мяч или ковырять в носу? Тут тебе силы хватает! Боже мой! – Последнее прозвучало по-русски. – У тебя куриные мозги, если ты проходишь две мили, чтобы вручить мне книгу о религии,

потому что на обложке написано «Толстой».

Старая *grande dame*<sup>7</sup> – не хочу выставить ее в ложном свете – с подозрением относилась к самому ничтожному проникновению дурной наследственности, семейного порока, с помощью которого нами могли манипулировать. Она не хотела знать, что написал Толстой о религии. Графиня мучилась с ним, и потому Бабуля не доверяла ему как семейному человеку. Она не была атеисткой и вольнодумкой, хотя никогда не ходила в синагогу, ела хлеб на еврейскую Пасху и посылала мать за свиной, которая была дешевле остального мяса, любила консервированных омаров и прочую запрещенную еду. А вот мистер Антикол, старый наркоман, которого она звала (спросите меня почему) Рамсесом, – возможно, в честь города, упомянутого вместе с Пифомом<sup>8</sup> в Библии, – был атеистом. Настоящий богоборец. Она выслушивала его с ледяной сдержанностью, но сама не высказывалась. Это был румяный зануда; жесткая саржевая кепка сплющивала его голову, одевался он хуже, чем того требовала улица, на которой он жил; от «старого железа»<sup>9</sup>, по его словам, голос его огрубел и стал хриплым. У него были густые жесткие волосы и брови и карие, глядящие с презрением глаза; тучный ученый неряшливый старик – вот кто он был. Бабу-

---

<sup>7</sup> Знатная дама (*фр.*).

<sup>8</sup> *Рамсес* был пунктом сбора евреев перед выходом из Египта в Землю обетованную; *Пифом* – город, построенный израильянами в Египте для фараона.

<sup>9</sup> «Железо вошло в его душу» – речь идет о рабстве евреев в Египте.

ля купила у него «Американскую энциклопедию» – кажется, 1892 года, и заставляла нас с Саймоном ее читать; да и старик, где бы нас ни встретил, всегда спрашивал, как идет чтение. Полагаю, он надеялся, что энциклопедия сделает нас равнодушными к религии. Сам он стал атеистом, после того как оказался свидетелем избиения евреев в родном городе. Из подвала, где он прятался, ему было видно, как один рабочий помочился на труп только что убитого младшего брата его жены.

– Так что не надо говорить мне о Боге, – сказал он.

Однако именно он постоянно говорил о Боге. И хотя миссис Анतिकол была набожной женщиной, он задумал грандиозное богохульство – по большим праздникам подъезжал на кобыле со слезящимися от конъюнктивита глазами к реформистской синагоге и привязывал ее рядом с шикарными тачками богатых евреев, которые пялились на странную парочку, и это, принижая их, доставляло ему мрачное удовольствие до самого конца жизни. Умер он от пневмонии, простудившись в дождливую погоду.

В день памяти мистера Лоша Бабуля тем не менее зажигала свечку; когда что-то пекла, бросала на угли кусок теста – своего рода жертвоприношение; заговаривала зубную боль и отводила дурной глаз. Это была домашняя магия, не имевшая ничего общего с великим Создателем, который поворачивал течение вод и уничтожил Гоморру, но все-таки и она имела отношение к религии. Мы, горстка евреев, жили по

соседству с религиозными поляками – на каждой кухонной стене картинка с раздувшимися кровоточащими сердцами, открытки со святыми, корзины с засохшими цветами, прикрепленные к дверям, причастия, Пасха, Рождество. Иногда нас преследовали, закидывали камнями, кусали и били, называя христуубийцами – всех, даже Джорджи, – и склоняя – нравилось нам это или нет – к чему-то вроде мистического противостояния. Впрочем, я от этого не особенно страдал или печалился, поскольку был по природе слишком веселым и проказливым, чтобы принимать все подряд близко к сердцу, и смотрел на это как на неизбежность вроде драк – стенка на стенку – уличных банд или вечерних разборок местных бродяг, крушивших заборы, поливавших грязной бранью девиц и нападавших на незнакомцев. Не в моей натуре было класть свою голову за религиозные тонкости – хотя некоторые мои друзья и товарищи по играм оказывались порой среди этого сброда, чтобы подстеречь меня за углом и отрезать путь к дому. Саймон не путался с ними. Школа занимала его больше, чем меня, и потом у него было собственное мировоззрение, почерпнутое частично у Натти Бампо, Квентина Дорварда, Тома Брауна, Кларка из Каскасии<sup>10</sup>, посланца, принесшего хорошие известия от Ратисбона<sup>11</sup>, и прочих, –

---

<sup>10</sup> В 1778 г. генерал Джордж Кларк без единого выстрела занял находившийся в руках англичан город Каскасию.

<sup>11</sup> *Ратисбон* – католический монастырь в Иерусалиме, названный так по имени его основателя.

и это делало его более независимым. Я был всего лишь жалким дублером, и он не брал меня, когда занимался атлетикой по Сэндоу<sup>12</sup> или с помощью специального снаряда укреплял сухожилия запястья. Я же тяготел к дружеским связям, но все они ограничивались старыми привязанностями. Дольше всего я дружил со Стахом Копецом, сыном акушерки, окончившей Школу акушеров на Милуоки-авеню. У зажиточных Копцов имелось электрическое пианино и линолеум во всех комнатах, но Стах был вором и я, водясь с ним, тоже подворовывал – уголь из грузовиков, белье, сушившееся на веревках, презервативы из маленьких магазинчиков и мелочь с прилавков газетных киосков. В основном я это делал, чтобы выказать сноровку, хотя Стах придумал еще одну игру – раздеваться в подвале и примерять украденные девчачьи тряпки. Потом он снюхался с одной бандой. Как-то холодным днем – землю тогда чуть припорошил снежок – они меня окружили; я сидел на вмерзшем в землю ящике и ел вафли «Набиско». Главным у них был головорез-недоросток, малец лет тринадцати с печальным взглядом. Его обвинения поддерживал Муня Стаплански, которого в это время переводили из исправительного заведения Святого Карла в заведение такого же рода в Понтиаке.

– Маленький жиденыш, ты посмел ударить моего брата? – сказал Муня.

– Не было этого. Я никогда его даже не видел.

---

<sup>12</sup> Юджин Сэндоу (1867–1925) – основатель бодибилдинга.

– Ты отнял у него пять центов. Иначе на что бы ты купил эти вафли?

– Я взял их дома.

И тут я встретился взглядом со Стахом – этот белообрый воруа глумливо смотрел на меня, наслаждаясь своим предательством и вновь обретенными друзьями.

– Эй ты, Стах, вонючка вшивая, ты ведь знаешь, что у Муни нет никакого брата, – сказал тогда я.

Тут главарь ударил меня, а затем навалилась и вся банда. Стах не отставал – он сорвал пряжку с моего тулупа и расквасил мне нос.

– А кто виноват? – сказала Бабушка Лош, когда я пришел домой. – Знаешь кто? Ты сам, Оги. Где были твои мозги, когда ты связался с этим дерьмом, сыном акушерки? Разве Саймон водится с такими? Нет. Он для этого слишком умен.

Я возблагодарил Бога, что хоть о воровстве ей неизвестно. Однако, зная ее склонность к проповедям, подозревал, что она довольна, показав мне, как пагубно потакать своим прихотям. А Мама, яркий пример подобной слабости, была в ужасе. Она не смела пойти против авторитета старой дамы и проявить при ней свои истинные чувства, но на кухне, близоруко щурясь, поставила мне компресс, вздыхала и что-то шептала, в то время как Джорджи, долговязый и бледный, топтался рядом, а Винни жадно лакала воду под раковиной.

## Глава 2

С двенадцати лет старуха отправляла нас работать на ферму, дабы мы почувствовали вкус жизни и научились зарабатывать. Но и раньше она находила мне занятия. Для умственно отсталых детей существовал особый утренний класс, и после того как я отводил туда Джорджи, мне приходилось идти в театр «Сильвестр стар» за рекламными листками и распространять их. Бабуля устроила это через отца Сильвестра, она знала его по кружку стариков, с которыми общалась в парке.

Если до нашей отдаленной квартирки доходили признаки хорошей погоды – теплой и безветренной, именно такую она любила, – Бабуля шла к себе в комнату, облачалась в корсет – свидетельство былых пышных форм – и черное платье. Мама готовила ей бутылочку с чаем. Затем, надев шляпу с цветами и накинув на плечи меховую горжетку с застежкой из барсучьих когтей, Бабуля отправлялась в парк, прихватив книгу, которую никогда не раскрывала. Слишком многое требовалось обсудить в кружке. Там даже заключались брачные союзы. Спустя год или чуть больше после смерти старого атеиста миссис Анतिकол нашла здесь второго мужа. Это был вдовец из Айовы, приехавший в наши края в поисках жены. После свадьбы до нас дошли слухи, что он запер жену в своем доме и заставил переписать на себя все свое состояние. Бабуля не притворялась расстроенной; она сказала «Бедняжка Берта»,

но тем ироничным тоном, в котором достигла высочайшего мастерства – тонкого и изящного, как скрипичная струна; сама она заслужила большое уважение, не выйдя второй раз замуж подобным образом. Я давно уже не думаю, что все старики отдыхают от своих проделок в молодые годы. Но она как раз хотела, чтобы мы так думали – что взять с такой старой баба<sup>13</sup>, как я? – и мы действительно верили, будто она выше всего этого, – сама мудрость, покончившая с тщеславием. И все же вряд ли она осталась равнодушной к тому, что не получила больше предложения руки и сердца. Иначе ей так не нравилась бы «Анна Каренина» или еще одна книга, достойная упоминания, а именно «Манон Леско»; в подходящем настроении она еще похвалялась своими бедрами и талией; насколько я знаю, ей всегда сопутствовали успех и популярность, и потому, уединяясь в спальне, чтобы зашнуровать корсет или взбить волосы, она делала это не по привычке, а дабы поразить воображение какого-нибудь семидесятилетнего Вронского или де Грие. Иногда мне удавалось поймать в ее глазах, несмотря на желтое, в пигментных пятнах морщинистое лицо и тусклые редкие кудряшки, взгляд еще молодой, недооцененной женщины.

Однако какие бы свои цели Бабуля ни преследовала в кружке, она не забывала и о нас: устроила меня распространителем рекламных листов через старого Сильвестра по прозвищу Пекарь, потому что тот носил белые парусиновые

---

<sup>13</sup> Русское слово «баба» транслитерируется у автора латиницей.

брюки и белую шапочку игрока в гольф. Его слегка потрясывало, как при параличе, – отсюда и шутка, что он раскатывает тесто, а так он был опрятный, немногословный, с налитыми кровью серьезными глазами, смирившийся с близостью конца, для чего ему пришлось проявить изрядное мужество, запечатлевшееся в белоснежной подкове усов. Думаю, сближение с ним Бабули объяснялось, как обычно, заботой об опекаемой ею семье, и Сильвестр познакомил меня со своим сыном, молодым человеком, казалось, всегда взмокшим от пота – то ли из-за денег, то ли из-за врожденного беспокойства. Иногда этот мир теней, пустой зал в два часа дня, скрипач, играющий только для него и механика у кинопроектора, и я, принесший всего двадцать пять центов, доводили его до бешенства. Он становился грубым. Однажды сказал:

– У меня были ребята, которые запихивали рекламные листки в канализационные трубы. Смотри, если я замечу такое и за тобой, а у меня есть возможность это проверить.

Теперь я знал, что он может выслеживать меня, и высматривал на улице его плешивую голову и тревожные темные глаза.

– Я сумею наказать тех, кто попытается меня наколоть, – предупреждал он.

Позднее он стал мне доверять – и вначале я оправдывал его доверие: скручивал листки и засовывал над колокольчиками у дверей, а не бросал в почтовые ящики; потом встречался с ним у уличной торговли рядом с почтой, и он угощал

меня сельтерской водой и турецкими сладостями и обещал, когда я подрасту, сделать из меня контролера или посадить за машину по изготовлению попкорна, которую собирался купить; со временем же ему понадобится менеджер. Он не терял надежды вернуться в институт и получить диплом инженера. Ему осталось еще два года, и жена поддерживала его в этом. Меня же он оставит вместо себя. Думаю, он говорил со мной в том же духе, что и в аптеке для бедных, и во многих других местах. Я не все понимал из его слов.

Но он несколько переоценил меня: услышав, что остальные мальчишки спускали рекламные листки в сточную канаву, я решил тоже выкинуть что-нибудь эдакое и только поджидал удобного случая. Можно было раздать листки в школе для умственно отсталых, похожей на тюрьму, сложенной из такого же кирпича, что и соседние льдохранилище и фабрика по изготовлению гробов, – туда я приходил за Джорджи в полдень. Как и полагается в тюрьмах, школьное помещение было темным – потолка не разглядеть, – а деревянный пол затоптанным. Летом для ущербных детей вход держали открытым, и, попав внутрь, вы вместо капли ледника слышали легкий шелест бумаги и наставления учителей. И как-то раз я сел на лестницу и вытащил оставшиеся листки, а когда ребята вывалились из класса, Джорджи помог мне их раздать. Потом я взял его за руку и отвел домой.

Насколько он любил Винни, настолько боялся чужих собак, а те, почуяв шедший от Джорджи запах псины, пресле-

довали его, с интересом обнюхивая ноги, и мне приходилось таскать с собой камни, чтобы их отгонять.

В то лето еще можно было побездельничать. На следующее, сразу после окончания занятий, Саймона устроили курортным в курортной гостинице в Мичигане, а я отправился к Коблинам на Норт-Сайд помогать с газетами. Пришлось переехать туда, потому что газеты привозили в четыре утра, а мы жили от Коблинов в полчаса езды на трамвае. Но ощущения, что я попал к чужим, не возникало: Анна Коблин была кузиной матери, и соответственно со мной обращались как с родственником. Хайман Коблин приехал за мной на своем «форде»; когда я покидал дом, Джорджи ревел белугой, демонстрируя чувства, которые не могла открыто выказать Мама из-за запрета старухи. Джорджи пришлось унести в дом. Я посадил его у печки и вышел. Зато Анна у своих дверей залила меня слезами и измусолила поцелуями, увидев мою растерянность от расставания с родными, – чувство для меня преходящее, скорее отзвук состояния матери, понимавшей, что ее сыновья слишком рано столкнутся с трудностями. Однако больше всех плакала Анна, которая и устроила меня на это место, – босиком, с огромной копной волос, в черном платье, застегнутом не на все пуговицы.

– Ты будешь для меня как сын, – говорила она, – будешь моим Говардом.

Она забрала у меня холщовую сумку с бельем и проводила в комнату Говарда между кухней и туалетом.

Говард убежал из дома. Приписав себе лишний год, он вместе с Джо Кинсменом, сыном владельца похоронного бюро, поступил в морскую пехоту. Родные пытались вызволить их оттуда, но к тому времени те уже достигли берегов Никарагуа и сражались с сандинистами<sup>14</sup>. Анна горевала так, словно сын уже умер. В ней, крупной и мощной, все было чрезмерным, даже с физической стороны: лоб усеян родинками, прыщами, волосками, шишками; бычья шея; рыжие курчавые волосы, несколько ее не красившие, свисали сзади спутанным утиным хвостом, а спереди небрежными космами заканчивались задолго до ушей. Когда-то сильный голос вконец испортили частый плач и астма, по тем же причинам пожелтели белки глаз, лицо обрело печальное выражение, а дух не хотел смириться с тем, с чем смирились и более несчастные люди.

– А чего еще ждала эта женщина? – говорила Бабушка Лош, взвешивая суть проблемы и получая от этого привычное удовольствие. – Брат нашел ей мужа, купил тому дело, двоих детей она родила в собственном доме, владея в придачу кое-каким имуществом. А могла бы застрять в шляпной мастерской у окружной дороги на Уобаш-авеню, где начинала карьеру.

Эту информацию она выдала после визита самой кузины

---

<sup>14</sup> *Аугусто Сесар Сандино* (1895–1934) – национальный герой Никарагуа; с 1926 г. возглавил национально-освободительную борьбу народа против войск США (оккупировавших Никарагуа в 1912 г.), приведшую к освобождению страны от оккупантов (1933). Вероломно убит.

Анны – та пришла к нам потолковать с Бабулей как с умной женщиной, в костюме, шляпе, туфлях, и поглядывала на себя в зеркало – не время от времени, а постоянно, ужасно недовольная своим видом; даже в самые тягостные моменты, когда рот ее кривился от рыданий, она продолжала ловить свое отражение. Мама, перехватив волосы цветной косынкой, подпаливала на огне цыпленка.

– Дорогая, с твоим сыном ничего не случится. Он благополучно вернется домой, – отвечала старуха на слезы Анны, произнеся первое слово по-русски. – Не у тебя одной там сын.

– Я не велела водиться с сыном гробовщика. Какой он ему друг? Он и втянул его в эту историю.

Она окрестила Кинсменов вестниками смерти и, как мне стало известно, обходила их дом стороной, отправляясь за покупками, хотя раньше всегда хвасталась, что миссис Кинсмен, полная, энергичная, себе на уме женщина, ее ближайшая подруга и почти сестра – из тех, богатых Кинсменов. Кинсмены хоронили дядю Коблинов, банковского служащего, а Фридль Коблин и дочь Кинсменов ходили к одному педагогу по дикции. У Фридль был дефект Моисея, чью руку недремлющий ангел направил в уголи<sup>15</sup>, но со временем речь ее стала плавной – заикание исчезло. Спустя годы на фут-

---

<sup>15</sup> В детстве египетский жрец испытал Моисея: перед ребенком поставили корзину с золотом и жаровню с углями. Если бы мальчик потянулся к золоту, то был бы убит, но ангел направил его руку к углям, которые ребенок положил в рот и с тех пор стал заикаться.

большом матче, торгуя хот-догами, я слышал, как она говорила с кем-то; Фридль не узнала меня в белой шапочке, а я хорошо помнил то время, когда она бубнила:

– Когда изморозь коснется тыкв.

Припомнилась также клятва кузины Анны, что я женюсь на Фридль, когда вырасту. Она произнесла ее в тот день, когда, рыдая, обнимала меня на крыльце:

– Послушай, Оги, ты будешь мне сыном, мужем моей дочери, mein kind<sup>16</sup>!

В тот момент она в очередной раз уступала Говарда смерти.

Мысль о будущей свадьбе не выходила у нее из головы. Когда, натачивая газонокосилку, я порезал руку, она успокоила меня:

– До свадьбы заживет. – И добавила: – Лучше выйти замуж за того, кого знаешь всю жизнь; нет ничего хуже незнакомцев. Ты слышишь меня? Слышишь?

Итак, она начертила план будущего: ведь Фридль была ее копией и, следовательно, можно было ожидать и для нее разных неприятностей вроде того, как жестокое Провидение в лице брата обошлось с ней самой. И не было матери, чтобы помочь. А возможно, она чувствовала: если не найдет дочери мужа, ту разрушат подавляемые инстинкты, отсутствие детей. И она утонет в слезах, как Офелия в потоке. Чем скорее свадьба, тем лучше. Там, где росла Анна, детство конча-

---

<sup>16</sup> Моим ребенком (нем.).

лось быстро. Ее мать вышла замуж в тринадцать или четырнадцать, так что у Фридль оставалось в запасе всего четыре или пять лет. Анна увеличила возрастной предел до пятнадцати, и последние годы перед замужеством с Коблином провела, полагаю, в большой печали. Так что теперь она постаралась поскорей развернуть кампанию по поиску жениха для дочери, и я был далеко не единственным кандидатом – просто самым удобным в то время. Фридль тоже готовили к будущей роли – кроме логопеда, она посещала уроки музыки и танцев, ее приглашали в лучшие дома нашего района. Только ради дочери Анна стала социально активной – по натуре она была унылой домоседкой, и чтобы заставить ее участвовать в благотворительных распродажах и расшевелить, требовалась великая цель.

Тому, кто с пренебрежением относился к ее девочке, она становилась смертельным врагом и распускала об этом человеке жуткие слухи.

– Преподавательница фортепьяно сама мне рассказывала. Каждый раз, когда она приходит на урок к Минни Карсон, мистер Карсон старается утащить ее в уголок.

Независимо от того, была то правда или ложь, со временем она начинала в это верить. Не важно, кто ей противостоял, – пусть даже сама учительница просила прекратить эти сплетни. Но Карсоны не пригласили Фридль на день рождения дочери, и потому стали смертельными врагами, которых она ненавидела с корсиканской страстью, целиком ее погло-

тившей.

Теперь же, когда Говард убежал из дому, все враги виделись ей приспешниками ада, и, лежа в постели, она плакала и проклинала их:

– Боже, Господь наш, сделай так, чтобы их ноги и руки отсохли, а сами они лишились разума. – И сулила им еще более страшные вещи.

Она лежала в сиянии летнего дня, смягченном ширмами и зеленью катальпы, растущей во дворе; лежала на спине, вся в компрессах, полотенцах и тряпках, отчего казалась еще массивнее; торчавшие из-под простыней пятки сверкали, как сколки графита, как ступни трупов в разрушенных наполеоновской кампанией испанских деревнях; мухи во множестве облепили шнур выключателя. Она тяжело дышала, изводя себя страхом и терзаниями. Обладая волей мученицы, она и в раю казнилась бы до Страшного суда вместе с другими страдающими матерями во главе с Евой и Анной. Жутко религиозная, она имела собственное представление о времени и месте, поэтому небеса и вечность были не так уж от нее далеки; Никарагуа же находилась на расстоянии, в два раза превышающем окружность земного шара, и там воинственный коротышка Сандино – кем он ей представлялся, выше моего воображения – убивал ее сына.

Между тем грязь в доме, особенно на кухне, была чудовищной. Но Анна все же старалась выполнять свои обязанности – опухшая, с пылающим взором, она шатко передви-

галась и что-то постоянно орала в телефонную трубку; на ее лицо бросали отблеск ярко-рыжие волосы, придающие ей нечто царственное. Она вовремя кормила мужчин, следила, не забывает ли Фридль практиковаться на рояле и репетировать, а когда Коблин был занят, присматривала за тем, чтобы полученные деньги тщательно проверяли, пересчитывали, сортировали, монеты отделяли, а новые приказы исполняли.

– Der... jener<sup>17</sup>... Оги, телефон звонит. Возьми трубку. Не забудь сказать, что теперь на субботнюю газету наценка!

Когда же я надумал подудеть в саксофон Говарда, то узнал, с какой скоростью она может выбраться из кровати и пробежать по дому. Она ворвалась в комнату, где я находился, вырвала саксофон из моих рук и завопила:

– Уж и до его вещей добрались!

От этого вопля у меня перехватило горло, и я чуть не задохнулся. Вот тогда я понял разницу между зятем – пусть желанным и еще только предполагаемым – и родным сыном. Она так и не простила меня тогда, хотя видела, как я напуган. Думаю, она все же не до конца понимала мои чувства и решила, будто раскаяние мне чуждо. На самом же деле я никогда не умел таить обиду, как Саймон с его южным горором и беспечной небрежностью *cododuello*<sup>18</sup> – обычной в то время для него манеры. Да и как можно таить обиду про-

---

<sup>17</sup> Э! э... ты (нем.).

<sup>18</sup> Знающего правила поведения дуэлянта (ит.).

тив женщины столь необычной? Даже вырывая из моих рук саксофон, она ловила свое отражение в зеркале наверху комода. Я спустился в подвал, где лежали инструменты и переплеты, и там, поняв по зрелом размышлении, что, если сбегу домой, меня тут же отправят назад, заинтересовался, почему в туалете сочится вода, снял крышку с бачка и остальное время провел, пытаясь наладить слив, а тем временем наверху гнулся и трещал пол.

Это рыскал по кухне Пятижильный – необъятных размеров брат Анны, сутулый, с длинными руками и головой, растущей из плотного узла мышц, что выглядело столь же необычно, как и форма его искривленного позвоночника; у него были тонкие ломкие волосы зеленовато-бурого цвета, изумрудные глаза – блестящие, оценивающие, дикие и сардонические, и блаженная улыбка эскимоса, открывающая эскимосские зубы, сидящие в больших деснах, – улыбка лукавая, веселая и неискренняя; этот человек с огромными ступнями жаждал богатства. Он управлял молочным электрофургоном, на котором водитель стоит, словно рулевой, а сзади бутылки и деревянные и проволочные контейнеры грохочут как черт знает что. Несколько раз он брал меня с собой и однажды даже заплатил полдоллара за то, что я помог носить пустые контейнеры. Когда же я попробовал поднять полный ящик, он, не скрывая удовольствия, ощупал мои ребра, бедра, плечи и сказал:

– Пока нельзя. Нужно подождать. – Ввалил на себя ящик,

подтащил к холодильнику и с грохотом опустил рядом.

Он вносил жизнь в тихие польские магазинчики, где всегда воняло салом, иногда в шутку боролся с хозяином; итальянцев он ругал по-итальянски: Fungoo!<sup>19</sup> – и мерился с ними силой, поставив на стол руку. Все это ему очень нравилось. По словам сестры, он был чрезвычайно хитрым. Не так давно он приложил руку к гибели империй, перегоняя фургоны с трупами русских и немцев к месту их захоронения на польских фермах, так что сейчас у него лежали денежки в банке; он имел долю в молочной ферме и в еврейском театре, где терпеть не могли этого чванливого толстяка: «Пятижильный. Мешок денег».

Воскресным утром, когда продавцы воздушных шаров бродили под голубым небом по тихим свежим тенистым улочкам, он приходил завтракать в белом костюме, ковыряя в зубах, его волосы скифа были аккуратно спрятаны под соломенной шляпой. И все же от него пахло молоком, которое он развозил по будням. Но как же приятен он был в такое утро – обветренное лицо, здоровый румянец; все: зубы, губы, щеки – с трудом сдерживало улыбку. Он щипал сестру, чьи покрасневшие глаза уже налились слезами.

– Анечка!

– Иди, завтрак готов.

– Пятижильный. Мешок денег.

Ей трудно было удержаться от улыбки. Но она любила бра-

---

<sup>19</sup> Распутник (*ит.*).

та.

– Анечка!

– Иди! Мой ребенок не со мной. Мир в хаосе.

– Пятижильный.

– Не валяй дурака. Будь у тебя ребенок, ты бы знал, что такое *wehtig*<sup>20</sup>.

Пятижильному было абсолютно наплевать на всех отсутствующих или убитых, что он и сказал. Черт с ними! Он носил их сапоги и шапки, пока их трупы тряслись позади в фургоне, а вокруг рвались снаряды и свистели пули. Его изречения были суровы – спартанского или проконсульского толка, жесткие и краткие: «Нельзя быть на войне и не понюхать пороху»; «Будь у бабули<sup>21</sup> колеса, она была бы тележкой»; «Заснешь с собакой – проснешься с блохами»; «Не гадь, где ешь». И всюду одна мораль, сводящаяся к тому, что «никого нельзя винить, кроме себя», или, прибегая к французской мудрости – ведь он бывал в столице мира, – «*Tu l'as voulu, Georges Dandin*»<sup>22</sup>.

Теперь вам ясно, как Пятижильный относился к побегу племянника. Но он жалел сестру.

– Чего ты хочешь? Ты получила письмо на прошлой неделе.

– На прошлой неделе! – возмущалась Анна. – А что было

---

<sup>20</sup> Скорь (идши).

<sup>21</sup> Игра слов: «granny» – и «бабуля», и «орудие» (англ.).

<sup>22</sup> Ты этого хотел, Жорж Данден (фр.).

потом?

– А потом он подцепил индейскую малышку и резвился с ней.

– Только не мой сын, – отрезала она, переводя глаза на кухонное зеркало.

Но оказалось, что мальчики нашли-таки себе подружек. Джо Кинсмен прислал отцу фото двух местных милашек в коротких юбчонках, с прямыми волосами – рука об руку и никаких комментариев. Кинсмен показал фото Коблину. Оба не выказали недовольствия – по крайней мере в присутствии друг друга. Скорее наоборот. Однако кузина Анна ничего не знала о фотографии.

Коблин как отец тоже волновался за сына, но не разделял гнева Анны против Кинсмена и на работе поддерживал с ним дружеские отношения, хотя в гости не приглашал. В основном жизнь Коблина проходила вне дома, существование его было активным, но предсказуемым и стабильным. Рядом с Анной и ее братом он выглядел плюгавым, хотя на самом деле был хорошего роста, крепкого сложения, абсолютно лысый, с крупными, округлыми и плоскими чертами лица и опухшими глазами; в его частом моргании виделось что-то карикатурное. Считается, будто такой тик – признак кротости, но некоторые типы и привычки словно созданы для опровержения человеческого опыта. Он ни в чем не уступал ни Анне, ни ее брату, ни прочим членам семьи. Можно сказать, он был себе на уме, имел собственные мыслиш-

ки и отвоевал право жить, как ему хочется, убедив всех, что ссориться с ним себе дороже. И Анна сдалась. Так что его рубашки всегда лежали в ящике с накрахмаленными воротничками, а второй завтрак после утренней доставки включал в себя кукурузные хлопья и яйца вкрутую.

Еда в этом доме была необычной и сама по себе, и по огромному ее количеству. Миски макарон без соли и перца, масла или соуса, тушеные мозги или легкие, студень из телячьих ножек – местами с шерстью и тонко нарезанным яйцом, холодная маринованная рыба, фаршированные потроха, консервированная похлебка из злаков и огромные бутылки шипучки. Пятижильный поглощал все это с удовольствием, намазывая масло на хлеб руками. Коблин отличался лучшими манерами, но замечаний шурина не делал и, казалось, считал его поведение естественным. Но мне известно, что, направляясь в центр на встречу разносчиков газет, он ел совсем по-другому.

Начать с того, что он снимал старый клетчатый костюм, в котором совершал ежедневный маршрут с мешком, полным газет, наподобие «Сеятеля» Милле, и надевал новый – тоже в клетку. В котелке, какие носят сыщики, и туфлях с широкими носами он отправлялся в путь, захватив с собой документацию, экземпляр «Трибюн» на всякий случай, результаты спортивных игр, биржевой курс – он играл на бирже, – а также новости гангстерских войн – что там с Колос-

симо, Капоне в Чичеро и О'Бэннионами<sup>23</sup> на севере; как раз тогда О'Бэнниона убили в его собственном цветнике – кто-то, державший ружье дружеской рукой. Ланч Коблин съел в дорогом ресторане или шел к «Рейке» полакомиться бостонской фасолью и черным хлебом. Потом отправлялся на встречу, где выступал начальник отдела распространения. Затем кофе с тортом в южном конце окружной дороги и веселое представление в «Хеймаркете», «Реальто» или местечке подешевле, где проделывают разные трюки негритянки или девушки, приехавшие из деревень, – там специализация более узкая, да и не так весело.

И опять я затрудняюсь сказать, что думала Анна об этих поездках. Она находилась, если можно так выразиться, на этапе пастушеского существования и еще не достигла крапчатой ступени варварского валтасарова пира. К слову сказать, и сам Коблин был не очень-то к нему готов. Солидный человек, изрядный тугодум, трепетно относившийся к работе, не засиживался в кабаках допоздна, боясь, что это помешает ему подняться утром в четыре часа – обычное время его пробуждения. Он играл на бирже, но то был бизнес. Играл и в покер, но по маленькой. У него не было тайных, далеко заводящих пороков тех людей, которые сначала привлекают лживой мягкостью, а потом начинают плести интриги

---

<sup>23</sup> Альфонсо (Аль) Капоне (1899–1947) – американский гангстер, руководитель подпольного синдиката, в 1920 г. застрелил своего босса Колоссимо; Чарлз Дион О'Бэннион – американский гангстер.

– по выражению скептически настроенных судей, когда они видят, как эти умники под шумок роют носом землю. В целом он хорошо ко мне относился, хотя иногда бывал не в духе и тогда понукал меня, требуя, чтобы я пошевеливался, упаковывая воскресное приложение. Обычно это случалось под влиянием Анны: довлея над мужем, она вызывала его на битву в дыму своих окопов. Сам же по себе он обладал совсем другим, веселым нравом; примером тому может служить эпизод с ванной – когда я вошел туда, он лежал в ванне голый, его мужское достоинство гордо возвышалось, а он окроплял его губкой в этом душном убогом помещении без окон. Было мучительно думать, что отец морского пехотинца и юной дочери, муж кухни Анны может быть застигнут в такой недостойной ситуации – гораздо мучительнее, чем находиться в ней, как я теперь понимаю. Но мои мысли по этому поводу никогда не отличались большой щепетильностью: я не мог видеть в нем развратника – в кузене Хаймане я видел лишь деликатного, мягкого, щедрого ко мне человека.

На самом деле они все были щедрые. Кухня Анна отличалась бережливостью, жаловалась на бедность и мало тратила на себя, но мне купила на зиму высокие сапоги со складным ножом в кармашке. А Пятижильный любил устраивать пиршество – приносил упаковки шоколадного молока, огромные коробки конфет, брикеты мороженого и слоеные пирожки. Они с Коблином знали толк в изобилии. Что бы это ни было: шелковые рубашки в полоску, подтяжки, чулки со

стрелками, блюзы из кинофильмов или разные вкусы в парке, куда нас с Фридль брали покататься на лодках, – всего покупалось не меньше дюжины. Пятижильный расплачивался бумажными деньгами, а кузен Хайман грудой монет, равноценной по стоимости. Деньги всегда лежали на виду – в чашках, бокалах, кувшинах, просто рассыпанные на письменном столе. Казалось, они не сомневались в моей честности, и, возможно, из-за этого изобилия я ничего не брал. Я без труда приспособился к такому положению вещей, учитывая, что мне поверили и посвятили в ситуацию, когда Бабуля послала меня в эту семью. Впрочем, при других обстоятельствах я мог бы повести себя иначе. Так что не думайте, будто я пытаюсь произвести впечатление: при определенных условиях из меня мог выйти Катон или молодой Линкольн, протопавший четыре мили в бурю, чтобы вернуть четыре цента клиенту. Я вовсе не хочу примазаться к легендарному поступку президента, только эти четыре мили не стали бы для меня препятствием при правильном воспитании. Все зависит от того, на какой путь меня бы направили.

В то свободное время, что я проводил в семье, наш дом казался мне верхом чистоты и совершенства. У Анны полы мыли в пятницу днем, когда она вставала с кровати и шлепала босиком со шваброй в руках, а закончив, застилала их чистыми газетами – те впитывали влагу, потом высохли и лежали неделю до следующей уборки. У нас же постоянно пахли воском натертые полы, все было продумано до мелочей,

каждая вещь на своем месте: повсюду салфеточки, купленные в дешевом магазине бокалы из граненого стекла, олени рога, напольные часы; порядок царил как в монастыре или ином другом месте, где любовь к Богу неразрывно связана с идеей домашнего уюта и сохранностью вещей и не имеет ничего общего с представлением о разбушевавшейся морской стихии, норовящей сокрушить незащищенную дамбу. Кровать, на которой спали мы с Саймоном, буквально распирало от постельных принадлежностей; на подушках вышивки; книги (о героях, их собирал Саймон) стоят на полках; школьные грамоты аккуратно прибиты; женщины вяжут на кухне у окна, откуда веет свежий летний ветерок; среди подсолнухов и зеленых шестов для развешивания белья ковыляет Джорджи, его тянет к Винни, та же медленно плетется на запах устроившихся на привал воробьев.

Мысль, что ничто не меняется в доме во время нашего с Саймоном отсутствия, была мне неприятна. Мама, вероятно, это чувствовала и, как могла, старалась угодить – пекла пирог и, поскольку я был чуть ли не гостем, расстилала скатерть и ставила на стол варенье. Таким образом, признавалась и моя роль работника, а я, извлекая из нагрудного кармана смятые доллары, испытывал гордость. И все же, когда шутки Бабули заставляли меня смеяться громче обычного, я издавал звуки, отдаленно похожие на кашель при коклюше, – не очень-то далеко я отошел от детства, и хотя вытягивался и становился стройнее, и голова моя достигла предельного

объема, я все еще носил короткие штаны и широкие отложные воротнички.

– Не иначе как они учат тебя всяким мудреным вещам, – сказала Бабуля. – Не уппусти шанс стать культурным и утонченным человеком. – Говоря это, она хвастливо намекала, что уже сформировала меня и мне нечего бояться вульгарных влияний, но и слегка подсмеивалась: немного издевки не помешает в случае опасности.

– Анна все еще льет слезы?

– Да.

– С утра до вечера. Ну а он что делает? Смотрит на нее и моргает? А малышка заикается. Как мило. А Пятижильный, этот Аполлон, все еще хочет жениться на американской девушке?

Как ловко могла она высмеять! Костлявой, желтой кистью, той, на которую надел в Одессе обручальное кольцо настоящий, авторитетный мужчина, она поворачивала рубильник, и вырвавшаяся на свободу вода сносила все несущественное: деньги, власть, обжорство, шмотки, коробки конфет и прочее, – а остроумная и величественная особа улыбалась, глядя на поднывающую рябь. Вам следовало знать, как знаю я, что в День перемирия 1922 года, когда Бабуля повернула ногу, спускаясь вниз по лестнице в одиннадцать часов, и фабрики неожиданно торжественно и празднично загудели, и всем следовало замереть на месте, – ее, орущую от боли и проклинаящую все на свете, подхватил Пятижиль-

ный и быстро притащил на кухню. Но в ее памяти осели лишь обиды и оскорбления, не стираясь в мозгу, как не стиралась аристократическая складка меж глаз – неудовлетворенность была частью ее натуры.

Пятижильный очень хотел жениться. Он обсуждал этот вопрос со всеми, и потому, естественно, пришел и к Бабушке Лош; та же, как обычно, скрыла подлинные чувства, но держалась сочувственно и вежливо, хотя втайне уже собрала полезную для себя информацию. Она понимала: здесь есть чем поживиться – можно рассчитывать на гонорар свахи. Что до делового интереса – тут она всегда держала ухо востро. Однажды она руководила переправой через границу иммигрантов из Канады. А я случайно узнал, что она договорилась с Крейндлом сосватать племянницу его жены. Крейндлу отводилась роль посредника, в то время как старуха должна была со своей стороны уговаривать Пятижильного и приводить веские доводы. План, однако, провалился, хотя сначала Пятижильный принял его восторженно и явился на первую встречу в цокольный этаж Крейндла помытый и причесанный; лицо его, основательно выбритое до уголков эскимосских глаз, пылало. Но бледная худышка ему не понравилась. Он мечтал о живой брюнетке с пухлыми губами, королеве вечеринок. Однако показал себя джентльменом и был настолько тактичен, что пару раз с ней все-таки встретился – подарил куклу, малиновую коробку конфет «Бант» и только после этого дал деру. Старуха тогда говорила, что это де-

вушка его бросила. Я, однако, думаю, что ее соглашение с Крейндлом продолжало действовать еще некоторое время, и Крейндл не сдавался. Он по-прежнему ходил к Коблинам по воскресеньям и теперь имел двойной интерес: у него были новогодние поздравления на иврите, и он хотел продать открытки за хорошие комиссионные в типографию Коблинам. Открытки являлись для него постоянным источником дохода, как и оптовая торговля разрозненными товарами, аукционные продажи и содействие жителям ближайших районов в приобретении мебели на Холстед-стрит, когда до него доходили слухи, что кому-то нужен гарнитур.

Он увлеченно работал на Пятижильного, и я постоянно заставлял их вдвоем в гараже. В напряженной униженной спине кривоногого Крейндла запечатлелась история его военной службы, а лицо этого любителя мяса пылало до самых волос, когда он пересказывал пять добродетелей очередной девушки: из хорошей семьи, вскормлена из рук матери самой лучшей, чистейшей пищей, воспитана в атмосфере, чуждой грубости или вражды, грудки появились вовремя, зло не коснулось ее, она как прозрачный бульон. Пятижильный слушал, скрестив руки на груди, и недоверчиво ухмылялся. Я словно читал его мысли: такая ли уж она нежная, прекрасная и невинная? А что, если после замужества нимфа превратится в грубую толстуху? Будет валяться в мягкой постели, есть инжир, ленивая и порочная, и занавеской подавать знаки льстивым юношам? А вдруг ее отец окажется мошенни-

ком, братья – бездельниками и шулерами, а мать – шлюхой или транжиркой? Пятижильный предпочитал быть осмотри- тельным, в этом его поддерживала сестра, постоянно настав- лявшая брата; будучи на десять лет старше, она предупре- ждала, как опасны американские женщины, особенно те, ко- торые гоняются за неопытными выходцами из других стран. Она была ужасно комичной, когда говорила об этом; впро- чем, скорее трагикомичной, потому что отрывала это время у своей скорби.

– Они не такие, как я, – чувт свою выгоду. Если амери- канка хочет шубу, как у ее модной подружки, тебе придется купить ее, иначе молодая нахалка всю кровь из тебя выпьет.

– Только не из меня! – отозвался Пятижильный, и это бы- ло похоже на утверждение Анны: «Только не мой сын!» Он катал хлебный мякиш своими толстыми пальцами и курил сигару; в зеленых глазах – настороженность и холод.

Увидев, что я прислушиваюсь к разговору и даже перестал читать свою книгу, Коблин, занимавшийся бухгалтерией в одном нижнем белье – день был жаркий, – подмигнул мне с улыбкой. Он не затаил против меня зла из-за того, что я нарушил его уединение в ванной, – скорее напротив.

Что до книги, то была «Илиада» Гомера, взятая у Саймо- на, я как раз читал, как белокурую Брисеиду перетаскивали из палатки в палатку, а Ахилл отбросил копье и снял доспе- хи<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> На десятом году осады Трои Агамемнон отнял у Ахилла пленницу Брисеиду,

Коблины рано вставали, и потому ложились спать вскоре после ужина, как крестьяне. Первым в половине четвертого поднимался Пятижильный и будил Коблина. Тот брал меня с собой завтракать в кабак на Белмонт-авеню, ночное прибежище водителей грузовиков, кондукторов, почтовых работников и уборщиц из ближайших контор. Маринованную рыбу и кофе – ему, блинчики и молоко – мне. Он с удовольствием общался с другими постоянными клиентами, с греком Кристофером и официантами. Сам он острить не умел, но смеялся любой шутке. И это между четырьмя и пятью часами – излюбленное время преступников, когда самые смелые из них мрачны и серьезны и стараются не вылезать из постели. Но он был совсем другим; по крайней мере летом любил рано выйти из дома, посидеть за кофе, держа под мышкой журнал с котировками акций.

Потом мы возвращались к гаражу, куда в это время подъезжали грузовики с газетами, они громыхали по узкому переулку, обрывая с деревьев листву и таща на себе прицепившихся бродяжек (прокатиться на типографском грузовике считалось высшим классом у хулиганья – вроде как отмотать срок в исправительной колонии или оторваться, угнав машину), и тут начинали сбрасывать связку «Трибюн» или «Икзэминер». Затем появлялась команда рассылных на велосипедах, и к восьми часам они уже всю трудились на своих маршрутах. Сам Коблин и работники постарше брали се-

бе крутые подъезды во дворах – там требовалось с особым умением забросить газету на третий этаж, минуя балки и веревки для сушки белья. Тем временем просыпалась кухня Анна и приступала к своим обычным занятиям (словно ночью они поневоле приостанавливались): плачу, стенаниям, горестным жалобам и оглядыванию себя в зеркалах. Но второй завтрак тем не менее стоял на столе, и Коблин ел, перед тем как, слегка хлопнув дверью, отправиться на разные встречи в изящной летней шляпе, почти непрерывно моргая. На его брюках сверкала утренняя паутинка росы – ведь он первым прошел по двору; он был готов говорить на любую тему, включая новости о тяжелом положении пивных магнатов и последние биржевые котировки – ибо все играли на бирже во главе с Инсуллом<sup>25</sup>.

А я оставался дома с Анной и девчушкой. Обычно Анна уезжала в Северный Висконсин, чтобы уберечься от августовской аллергии, но в этом году из-за бегства Говарда Фридли лишилась поездки. Анна часто с сожалением говорила, что Фридли единственная из лучших учениц осталась без каникул. Чтобы это как-то компенсировать, она обильно ее кормила – у девочки был вид закормленного ребенка с багровым, нездоровым лицом и раздраженным выражением. Ее и дверь в туалете не заставляли закрывать, хотя даже

---

<sup>25</sup> *Сэмюел Инсулл* – американский бизнесмен и предприниматель, в 1920-х – глава крупнейшего холдинга. Во время экономического кризиса разорился и бежал за границу.

Джорджи этому научили.

В день футбольного матча, стараясь не попадаться ей на глаза, я не забыл, что Фридль обещана мне в жены; игроки тем временем носились, сталкивались и падали на поле. Тогда это была уже юная леди, избавившаяся, я уверен, от дурных привычек; она выросла крупной, как мать, а цветом лица – кровь с молоком – пошла в дядю; на ней была енотовая шубка, она радостно смеялась и махала флажком Мичигана. Она училась на диетолога в Энн-Арбор<sup>26</sup>. Прошло десять лет с тех суббот, когда Коблин давал мне деньги, чтобы я пригласил ее в кино.

Анна не возражала против наших походов, хотя сама в дни религиозных торжеств к деньгам не прикасалась. Она неукоснительно соблюдала их все, включая праздники новолуния, о которых узнавала из еврейского календаря, тогда она покрывала голову, зажигала свечи и шептала молитвы; при этом глаза ее были расширены, взгляд непоколебим, она погружалась в религиозные бездны со страхом и беспокоейством Ионы, посланного в пугающую Ниневию<sup>27</sup>. Она считала своим долгом, поскольку я живу в ее доме, просветить меня в вопросах религии; я получил от нее странные комментарии, касавшиеся сотворения мира, грехопадения,

---

<sup>26</sup> Энн-Арбор – университет в Мичигане.

<sup>27</sup> Господь повелел пророку Ионе идти в языческий город Ниневию, столицу Ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь погубит их, если они не покаются.

строительства Вавилонской башни, потопа, визита ангелов к Лоту, наказания, постигшего его жену и похотливых дочерей, – и все это на смеси иврита, идиш и английского; ее вдохновляли благочестие и гнев, цветочки и кровавые огни, пришедшие из собственных воспоминаний и воображения. Она лишь немного урезала истории вроде той, где Исаак и Ребекка развлекаются в садах Абимелеха или Шехем обесчестил Дину.

– Он ее мучил, – сказала она.

– Как?

– Мучил, и все!

Она считала, что больше мне знать не надо, и была права. Должен отдать ей должное: она хорошо понимала слушателя. Ничего лишнего. В сокровенных глубинах своей души она находила правильные направления к великим и вечным вещам.

## Глава 3

Даже в прежнее время я не мог вообразить, что войду в семью Коблин. И когда Анна выхватила у меня саксофон Говарда, подумал: «Да бери его, если хочешь! Он мне не нужен! Я добьюсь большего!» Я был уверен, что у меня все хорошо сложится.

А дома старуха, с собственным представлением о достойной судьбе, искала мне разные занятия.

Упоминая «разные занятия», я, можно сказать, говорю о Розеттском камне в своей жизни.

Не стану утверждать, будто первые работы, которые она нам находила, были так уж тяжелы. А если и были, то на недолгий срок и вскоре сменялись лучшими. Она не готовила нас к жизни пролетариев – напротив, предполагалось, что мы будем носить костюмы, а не рабочие комбинезоны, – а стремилась сделать из нас джентльменов, хотя наше рождение не позволяло на это надеяться; мы отличались от ее собственных сыновей, у которых были немки-гувернантки, домашние учителя и гимназическая форма. И не ее вина, что они стали всего лишь провинциальными бизнесменами: их готовили к лучшей участи. Но она никогда на них не жаловалась, и они относились к ней с должным уважением – два крупных человека в перепоясанных пальто и гетрах; Стива ездил на «студебекере», а Александр – на «стэнли-стимере».

Оба были довольно скучные и молчаливые. Когда к ним обращались по-русски, они отвечали на английском, и вообще явно не так уж и ценили то, что она для них сделала. Возможно, она так возилась со мной и Саймоном, желая показать сыновьям, что может сотворить даже из таких недоумков, как мы. Вспоминая сыновей, она и читала нам проповеди о любви. Однако когда они склонялись, чтобы исполнить свой сыновний долг и поцеловать ее, могла на мгновение прижать к себе их головы.

Во всяком случае, она держала нас в ежовых рукавицах. Мы должны были чистить зубы солью, мыть волосы шампунем «Кастилия», приносить домой дневники и спать не в нижнем белье, а в пижамах.

Для чего Дантон сложил голову на плахе и для чего родился Наполеон, если не для того, чтобы все мы стали благородными? Именно это повсеместно утверждаемое право на равенство придавало Саймону такой горделивый вид, ирокезскую осанку, орлиную выдержку, мягкую поступь, когда ни одна веточка не хрустнет под ногой, изящество шевалье Баярда<sup>28</sup>, руку Цинцинната на плуге<sup>29</sup>, напор мальчишки, продающего спички на Нассау-стрит, который со временем станет главой корпорации. Если вы лишены особого таланта,

---

<sup>28</sup> *Пьер Баярд* (1473–1524) – французский рыцарь, известный как «Рыцарь без страха и упрека».

<sup>29</sup> Имеется в виду Луций Квинций Цинциннат, римский диктатор 458–439 гг. до н. э. На скульптурном изображении левой рукой опирается на плуг.

то не разглядите этого в нас, когда румяным осенним утром мы стоим на гравийной дорожке школьного двора в черных курточках, съехавших черных чулках, варежках или перчатках, потрескавшихся ботинках, в то время как звучат барабан и горн, а невидимый ветерок колышет траву и листья и прозрачную дымку, а также тугой флаг, и гремит скобой для веревки, натянутой на металлический шест. Но Саймон и здесь выделялся – стоял во главе школьного полицейского патруля в накрахмаленной и отглаженной за день до того рубашке, перехваченной офицерским ремнем, и саржевой кепке. У него было красивое смелое светлое лицо, которое даже небольшой шрам на брови не портил, а лишь добавлял шарма. На школьных окнах в честь Дня благодарения висели аппликации – черные и оранжевые колонисты, индейки, веточки клюквы; в гладких блестящих стеклах отражалось холодное розовато-синее небо, а сквозь него виднелись электрические лампочки и классные доски. Темно-красное здание чем-то напоминало и церковь, и мельницу у Фолл-Ривер или Саскуэханны, и окружную тюрьму.

У Саймона здесь была отличная репутация. Как президент Школьной лиги он носил на свитере эмблему и, будучи студентом-выпускником, произносил речь в день присуждения университетских степеней. Я не отличался его целеустремленностью, был более неорганизован: каждый мог оторвать меня от дела и втянуть в развлечения – собирать по переулкам всякую рухлядь, прокрасться в сарай для лодок

или карабкаться по металлическим конструкциям под мостом через лагуну. Это отражалось на моих оценках, и старуха давала мне хорошую взбучку, когда заглядывала в дневник, называла меня кретином, то есть «meshant» по-французски, грозясь, что в четырнадцать лет мне придется работать.

– Сама достану тебе справку в совете, и ты, как поляк, будешь трубить на скотоферме, – говорила она.

Но иногда Бабуля брала со мной другой тон:

– У тебя есть мозги, ты не глупее других. Если сын Крейндла может стать дантистом, то ты – губернатором Иллинойса. Просто тебя легко сбить с пути. Ради шутки, веселого смеха, конфетки или возможности лизнуть разок мороженое ты все бросишь и побежишь на зов. Короче говоря, ты дурачок. – Она брала в руки шерстяную, тонкую, словно паутинка, вязаную шаль и натягивала ее, как мужчины тянут, поправляя, лацканы пиджака. – Если думаешь, что сможешь чего-то добиться, хохоча до упаду и обжираясь персиковым пирогом, то ошибаешься. – Коблин приучил меня к пирогам – она же относилась к ним пренебрежительно. – Бумага и клей – вот что это такое, – говорила она с презрением «свидетеля Иеговы» ко всем посторонним влияниям и угрожающе спрашивала: – А еще к чему он тебя приучил?

– Ни к чему.

– Это хорошо. – Она вынуждала меня стоять и выдерживать ее взгляд, говорящий, насколько я глуп, и я стоял, дол-

говязый, длинноногий, в коротких брючках, большеголовый, с черной копной волос и ямкой на подбородке, служившей постоянным источником шуток. И еще со здоровым цветом лица, которого явно не заслуживал, потому что она повторяла:

– Посмотрите! Ну посмотрите на его лицо! Только взгляните на него! – И улыбалась, сжимая деснами мундштук с сигаретой, из которой вился дымок.

Однажды она поймала меня на улице, где прокладывали асфальт, я как раз жевал расплавленный вар из бочки вместе со своим дружкой Джимми Клейном, чью семью она не одобряла, – после этого случая я находился в черном списке дольше обычного. Постепенно эти периоды увеличивались – я не становился лучше. Я тяжело переносил подобные отлучения, приставал к матери, допытываясь, как добиться прощения у старухи, а когда меня прощали, лил слезы. Однако жизненные наблюдения закалили меня и теперь я смотрел на свои проступки с большей терпимостью. Это не значит, что я перестал связывать с ней все самое лучшее и высокое (выражаясь ее словами) – европейские дворцы, Венский конгресс, фамильную славу и прочие возвышенные и культурные вещи, которые угадывались в ее поведении и признавались на словах; она вызывала ассоциации совершенно исключительные, имперское величие правителей, фотогравюры столиц, печаль глубокой мысли. И я не оставался равнодушен к ее придирам. Мне не хотелось бросать школу в четырнадцать

лет, получать справку и идти паковать растения, которые я сейчас иногда собирал для собственного удовольствия. Тогда я начинал делать домашние задания и чуть ли не выпрыгивал с места, когда нетерпеливо тянул руку, чтобы ответить на вопросы. И Бабуля клялась, что я не только окончу школу, но, если она будет жива и здорова, поступлю в колледж.

– Когда чего-нибудь хочешь, можно сдвинуть горы! – И вспоминала свою кузину Дашу: та, готовясь к экзамену по медицине, ночи проводила на полу, чтобы ненароком не заснуть.

Саймон закончил учебу и получил диплом, я перепрыгнул через класс, и директор в своей речи упомянул нас обоих, братьев Марч. На церемонии присутствовала вся семья – Мама сидела сзади с Джорджем, боясь, как бы он чего не выкинул. Она не хотела оставлять его дома в такой день, и они расположились в последнем ряду под балконом. Я сидел впереди, среди колышущихся перьев, рядом с нашей старой дамой в темном шелковом платье, поверх которого свисало множество золотых цепочек и золотой медальон, где оставил отметину один из ее сыновей, когда у него резались зубы; ее распирало от гордости, и она с трудом хранила молчание – так ей хотелось открыть всем свое отличие от других иммигрантских родственников; двойной ряд перьев на шляпке клонился в двух направлениях. Ведь именно это она стремилась донести до нас: если мы будем ее слушать, то добьемся прекрасных результатов вроде сегодняшнего публичного

признания наших заслуг.

– В следующем году я хочу видеть тебя на его месте, – сказала она мне.

Но ей не суждено было этого увидеть, хоть я и приложил много усилий, чтобы перескочить через класс; однако прежние оценки работали против меня, да и единичный успех не слишком вдохновил. Это было не в моем характере.

Кроме того, изменился и Саймон. Он не поменял своего отношения к учебе, но летом, во время работы официантом в «Бентон-Харбор», в нем произошли перемены: сменились цели и представления о моральных принципах.

Свидетельство этих перемен, имевших для меня очень большое значение, сразу бросалось в глаза: осенью он вернулся окрепший, загорелый, но без верхнего переднего зуба, стал осмотрительнее, но как-то поблек на фоне здоровых и достойных людей; в нем изменилось все – лицо, смех. Он не рассказывал, как это случилось. Может, зуб выбили в драке?

– Поцеловался со статуей, – сказал он мне. – Нет, вляпался в кучу дерьма.

Такой ответ был бы немислим еще полгода назад. К удовольствию Бабули, у него остались неучтенные деньги.

– Только не говори, будто ты заработал всего тридцать долларов на чаевых! У Рейманов первоклассная гостиница, к ним приезжают из Кливленда и Сент-Луиса. Конечно, ты потратил кое-что на себя – ведь ты отсутствовал все лето, – но все-таки...

– Само собой, я истратил около пятнадцати долларов.

– Ты всегда был честным, Саймон. Теперь вот Оги приносит домой все до последнего цента.

– Что значит был? Я и остался таким, – ответил он с уязвленной гордостью и несправедливо попраным достоинством. – Я принес всю зарплату за двенадцать недель и еще тридцать баксов.

Она замяла разговор, только проницательно поблескивала стеклами очков в золотой проволочной оправе, но все ее морщины, седина и втягивание щек словно предостерегали от неправильно избранного пути. Она давала понять, что в нужный момент сумеет нанести удар. Но я впервые чувствовал: Саймон считает, что ей не следует беспокоиться по этому поводу. Не то чтобы он был готов к открытому бунту. Но у него зародились кое-какие мыслишки, и понемногу мы стали говорить друг другу такие вещи, которые не сказали бы перед женщинами.

Во-первых, мы работали в одних и тех же местах. Помогали Коблину, когда он в нас нуждался; в подвалах магазина «Вулвортс» распаковывали товар, который доставлялся в таких огромных ящиках, что в них можно было расхаживать; вытаскивали оттуда старую солому и бросали в топку или, если то была бумага, уплотняли ее под гигантским прессом, а потом увязывали в тюки. Там, внизу, отвратительно пахло протухшими отходами, банками с остатками горчицы, заплесневелыми конфетами, соломой и бумагой. Пере-

кусить мы поднимались наверх. Саймон отказывался принести сэндвичи из дому – говорил, что работающим людям нужна горячая пища. За двадцать пять центов мы покупали два хот-дога, по кружке шипучки и пирог; с хот-догов капала горчица – та самая, которая воняла внизу. Но главным была эмблема, украшавшая форменную одежду всех служащих, включая девушек, и то, что ты являлся частью этого набитого всем подряд, скрипучего, пестрого магазина, где продавались скобяные товары, стеклянная посуда, шоколад, зерно, бижутерия, клеенка и модные шлягеры, было здорово; пусть мы являлись своего рода атлантами и, находясь под полом универмага, слышали, как ходят половицы под весом сотен покупателей, в соседнем здании хрипит фисгармония и гремят троллейбусы на Чикаго-стрит. Субботние сумерки были окрашены кроваво-красным цветом принесенной ветром золы, темные силуэты пятиэтажных домов подсвечены ярким рождественским блеском магазинов, верхние же этажи тонули в неясной северной дымке.

Вскоре Саймон перешел на лучшую работу – в Компанию федеральных новостей, которая имела торговые точки на железнодорожных станциях и могла торговать газетами и сладостями в поездах. Семье пришлось потратиться на униформу, и он, изящный, похожий на курсанта военного училища, стал проводить ночные часы в центре города и в поездах. Воскресным утром он вставал поздно, выходил к завтраку в халате, важный и снисходительный, осмелев от новой роли

кормильца семьи. С Мамой и Джорджем он держался суше, чем раньше, и иногда был резок со мной.

– Не трогай «Трибюн», пока я не пролистал. Приношу газету ночью, а утром она уже вся смята.

В то же время он отдавал Маме часть жалованья втайне от Бабули, и она могла потратить кое-что на себя, еще следил, чтобы у меня были карманные деньги, и не забывал о Джордже и его слабости к солдатикам из жженки. Саймон никогда не был жмотом. Темперамент он имел восточный, места себе не находил, если ему не хватало наличных, и предпочел бы вообще не заплатить по счету, чем не оставить хорошие чаевые. Однажды он стукнул меня по голове за то, что я стащил один из двух десятицентовиков, оставленных им под тарелочками в кафе. Я решил, что достаточно и одного.

– Чтобы я такого больше не видел, – грозно сказал он, а я струсил и ничего ему не ответил.

Воскресным утром, сидя в кухне и ощущая за спиной униформу, аккуратно висящую в изножье кровати в спальне, он, глядя на изморось, уютно плачущую на стекле, чувствовал свою силу – силу кормильца, способного обеспечить семью. Иногда он говорил со мной о Бабуле как о чужом человеке.

– Она ведь нам никто, ты понимаешь это, Оги?

Это был не столько бунт, сколько намек на возможность расторжения отношений, которого Бабуле следовало опасаться; ей не стоило вмешиваться, когда он разворачивал газету, занимая весь стол, и читал, подперев голову рукой и

разлохматив русые волосы. И все же он не вынашивал план ее смещения и не мешал командовать остальными – особенно Мамой, по-прежнему остававшейся ее рабой. Зрение Мама все ухудшалось: очки, подходившие ей в прошлом году, уже не годились. Мы в очередной раз отправились в благотворительную аптеку и вновь подверглись допросу. Чиновники внесли в картотеку возраст Саймона и поинтересовались, не работает ли он. Я решил, что на этот раз смогу ответить на вопросы сам и обойдусь без репетиций с Бабулей, и даже Мама не послушалась, а заговорила своим особенным чистым голосом:

– Мои мальчики еще учатся, но после школы мне понадобится их помощь.

Затем, когда мы описывали свой семейный бюджет, нас чуть не уличил во вранье чиновник – хорошо, что в тот день был большой приток народу. Нет, мы еще не созрели, чтобы обходиться без наставлений старой дамы.

Но главными семейными новостями были продвижения Саймона по службе: теперь он уже не ходил по поездкам – его перевели в киоск на станции Ласалль-стрит, а затем – в центральный киоск, где продавались книги и прочие новинки; там дела шли быстро и успешно, ведь через центральный вокзал проходил главный путь в город. Он видел знаменитых людей в мехах или в стетсонах и пальто из альпака, они беспечно шагали среди многочисленного багажа; знаменитости всегда выглядели более высокомерными или меланхо-

личными, более приветливыми или морщинистыми, чем их изображали. Одни приезжали из Калифорнии или Орегона на «Портленд роуз» и оказывались в снежном вихре, несущемся с безумных высот небоскребов Ласалль-стрит, снег падал и на скоростные железнодорожные пути; другие ехали в Нью-Йорк на экспрессе «Двадцатый век» в купе, больше похожих на гостиные: темная полировка, обивка благородного зеленого цвета, умывальники с серебряными раковинами, кофе в фарфоровых чашечках, дорогие сигары.

Саймон рассказывал:

– Сегодня видел Джона Гилберта<sup>30</sup> в большой велюровой шляпе... Сенатор Борах оставил мне десятицентовик, купив «Дейли ньюс»... При виде Рокфеллера веришь, что у него и правда резиновый желудок.

Когда он рассказывал такое за столом, появлялась надежда, что соприкоснувшееся с ним величие, возможно, потянет его за собой: он привлечет чье-то внимание, сам Инсулл заметит его, даст визитку и назначит встречу в своем офисе уже на следующий день. У меня появилось чувство, что вскоре Бабуля начнет втайне стыдить Саймона за то, что он не продолжил учебу. Может, он не старался как следует, чтобы выглядеть изысканнее, его манеры были грубоваты. Ведь Бабуля верила в случай или наитие – они могли привлечь внимание выдающегося человека. Она собирала истории об

---

<sup>30</sup> *Джон Гилберт* (1897–1936) – один из самых популярных американских актеров эпохи немого кино.

этом и планировала написать Джулиусу Розенвальду<sup>31</sup> всякий раз, когда читала в газетах об его очередном пожертвовании. По словам Бабули, оно всегда делалось неграм и никогда – евреям, что злило ее чрезвычайно – так сильно, что она кричала:

– Этот немецкий иуда!

При этом крике немощная седая собака приподнималась и пыталась ковылять к хозяйке.

– Этот немец!

И все же она восхищалась Джулиусом Розенвальдом, он принадлежал к избранному ею кругу равных, со своим понятием обо всем, отличным от нашего; представители этого круга всем владели и надо всем надзирали.

Тем временем Саймон старался найти мне местечко на Ласалль-стрит, где я мог бы работать по субботам, и вытащить из душного подвала, в котором после его ухода я трудился с Джимми Клейном. Бабуля и даже Мама приставали к нему, чтобы он мне помог.

– Саймон, ты должен пристроить Оги.

– Я прошу об этом Борга всякий раз, как его вижу. Да поймите вы: там у каждого родственников хватает.

– Так в чем дело? Дай взятку, – сказала Бабуля. – Поверь, он только этого и ждет. Пригласи его к нам на обед, и я все

---

<sup>31</sup> *Джулиус Розенвальд* (1862–1932) – американский миллиардер, по происхождению еврей, основатель знаменитой «Сирс» – «Товары – почтой», много занимался благотворительностью.

улажу. Пара долларов в салфетке – все дела.

Она покажет нам, как надо жить. Конечно, исключая любимый прием императора Нерона – щекотать отравленным пером за обедом горло врага или соперника. Саймон ответил, что не может пригласить Борга. Он не очень близко с ним знаком – ведь его еще не взяли в постоянный штат, – и не хочется становиться подхалимом и объектом презрения.

– Что ж, любезный граф Потоцкий, – произнесла Бабуля, бросая на брата холодный взгляд прищуренных глаз, хотя тот уже задыхался от волнения, – выходит, ты предпочитаешь, чтобы твой брат трудился в подвале «Вулвортс» с этим малолетним кретином Клейном!

После нескольких месяцев такого натиска Саймон наконец отвез меня в центр, что доказывало одно: власть старой дамы над ним не кончилась.

Однажды утром он представил меня Боргу.

– Помни, – предупредил он меня в трамвае, – тут тебе не игрушки. Ты будешь работать на хитрого старого лиса, и он не потерпит никаких промахов. Здесь ты имеешь дело с деньгами – торговля идет быстро, они так и мелькают у тебя перед глазами. В конце дня недостачу Борг возьмет из твоего небольшого заработка. Ты проходишь испытание. Я сам видел, как некоторые идиоты вылетали отсюда с треском.

Тем утром он был со мной особенно суров. Стоял жуткий холод, земля промерзла, растения поникли от мороза, над рекой клубился туман, паровозы выстреливали паром в

огромную промозглую голубизну висконсинского неба, множество рук отполировали ручки сидений, набитых ломкой золотой соломой, оливковый и коричневый цвет обивки тоже золотился в складках, как и волоски на крупных запястьях Саймона и его подбородке, который он брил теперь чаще, чем раньше.

У него появилась новая грубая привычка втягивать воздух и сплевывать прямо на тротуар. Но какие бы изменения с ним ни произошли, он не утратил того обаятельного независимого взгляда, каким следил за мной. Я побаивался его, хотя был почти такого же роста. Сложение, в отличие от лиц, у нас похожее.

Мне не было суждено добиться успеха на вокзале. Может, тут сыграли свою роль угрозы Саймона и его презрение, когда в первый же день мне урезали жалованье. Я с треском провалился, ежедневно у меня была недостача в доллар, и даже к концу третьей недели положение не изменилось. Поскольку мне полагалось только пятьдесят центов помимо стоимости билета на трамвай, покрыть недостачу я не мог, и однажды вечером Саймон по дороге домой мрачно сообщил, что Борг меня уволил.

– Я не мог гнаться за людьми, которые мне недоплатили, – сказал я в свою защиту. – Они просто кидают деньги и берут газету – что же мне, бросить киоск и бежать за ними?

И тут Саймон заговорил ледяным голосом – глаза его горели холодным огнем, – заговорил, стоя на неуютном мосту,

стянувшим черным стальным узлом ползущее, не поддающееся названию месиво реки, влачащей промышленные отходы.

– Ты мог бы взять эти деньги у других, дать меньше сдачи.

– Что?

– Что слышишь, ты, пустая голова!

– Почему ты не сказал мне раньше? – выкрикнул я.

– Почему не сказал? – рассердился он, отпихивая меня. –

Может, тебе еще и нос утирать, как глупышке Джорджу?

Он позволил нашей старухе орать, не промолвив и слова в мою защиту. Раньше он всегда вступался за меня в серьезных делах. Теперь же стоял в темном углу кухни, переброшив пальто через плечо и уперев руку в бок; время от времени он помешивал угли в плите, на которой разогревался наш ужин. Я тяжело переживал эту неприязнь ко мне, хотя и понимал, что подвел его: он рекомендовал меня Боргу как смышленного братца, а я оказался круглым болваном. Но меня поставили у прилавка за колонной, куда забредали лишь отставшие ото всех, случайные люди; кроме того, Борг выдал мне не всю униформу, а только куртку, да и ту с потертыми манжетами, рваной подкладкой и старой тесьмой. Никто не мог указать мне на известных людей, даже если бы они и очутились здесь, и я проводил время в мечтах, ожидании ланча и перерыва в три часа дня, чтобы пойти к главному киоску и наблюдать с восхищением за Саймоном – там доход был много больше, денежный ручеек не пересыхал, как

и бесконечный поток пассажиров, знавших, что им надо – жевательную резинку, фрукты, сигареты, толстые пачки газет и журналов; помогала торговле и огромная люстра, освещавшая большое пространство. «Если бы Борг поставил меня сюда, – думал я, – а не засунул в самый дальний угол вокзала, куда доносилось только эхо настоящей жизни и даже не было видно поездов, может, и я на что-нибудь сгодился».

Итак, я переживал позор увольнения, за что меня сурово отчитывали на кухне. Похоже, старая дама только этого и ждала: ей не терпелось сказать, что, учитывая мое положение – ребенка из неблагополучной семьи, – трудно было избежать подобного, ведь у меня нет отца, который был бы мне защитой, лишь две слабые женщины, и они не могут вечно заслонять нас от голода, нищеты, преступлений и вообще зла этого мира. Возможно, лучше было бы отправить нас в приют, как одно время хотела Мама. Уж мне-то суровые нравы сиротского дома точно пошли бы на пользу: ведь я только и стремлюсь забиться в укромный уголок, чтобы меня не трогали. Ярость ее слов, до сих пор произносившихся лишь мысленно, усугублял скрюченный палец, которым она грозила мне, и молниеносно вырвавшееся пророчество, зревшее в ее мозгу, когда она сидела у печки в обычные дни.

– Вспомнишь меня, Оги, когда я буду в могиле, вспомнишь, когда я уйду!

Опускаясь, ее рука задела мое плечо, это произошло случайно, но эффект был страшный, и я взвыл, словно это при-

косновение, десятикратно усиленное, ударило по моей душе. Может, я взвыл, осознав худшие стороны своего характера; выходит, я могу умереть, так и не став лучше, и нет такой силы, которая помогла бы мне, очистила и освободила; и старушенция, упомянув раньше времени о своей смерти, вынесла приговор, не подлежащий пересмотру:

– Gedenk, Augie, wenn ich bin todt!<sup>32</sup>

Но старая дама не могла долго говорить о собственной кончине. До сих пор она не упоминала, что тоже смертна, и сегодняшнее признание явилось некоторым отступлением от принципов, но даже теперь она казалась кем-то вроде фараона или Цезаря, обещавших превратиться в богов, за исключением того, что ей не воздвигнут пирамиды или памятники, дабы подкрепить обещание, и это умаляло ее величие. И все же жуткий приговор, который она выкрикнула беззубым ртом перед лицом смерти, тяжело на меня подействовал. У нее была особая сила превращать свою угрозу в нечто большее, чем угроза обыкновенного человека, но и сама она за это расплачивалась, переживая неподдельный ужас.

Она вновь коснулась нашей безотцовщины. Скверная тема, и я повернулся к Маме. Саймон хранил молчание, стоя у черной никелированной плиты и крутя в руках стальное приспособление для снятия крышек с горелок. В другом углу сидела Мама, серьезная, с виноватым лицом, легкая добыча для такого человека, как мой отец. Старая леди готовилась

---

<sup>32</sup> Вспомнишь, Оги, когда я умру! (нем.)

этим вечером испепелить меня, при этом любой присутствующий при экзекуции мог получить ожоги.

Мне нельзя было вернуться на прежнее место в «Вулвортс», поэтому мы с Джимми Клейном стали искать работу вдвоем, несмотря на нелюбовь к нему Бабули. Он был общительный и энергичный, стройный, смуглый, с близко посаженными умными глазами; он искренне хотел быть честным, но при случае мог и смошенничать – тут старая дама права. Наш дом был для него закрыт: она не одобряла плохую компанию. У Клейнов же привечали и меня, и Джорджа. Днем, когда с братишкой нужно было гулять, я мог оставить его у них, и тот играл с цыплятами, которых они выращивали или пытались выращивать на затененном глинистом пространстве между домами; миссис Клейн присматривала за ним из кухни в полуподвальном этаже, где она сидела за столом рядом с плитой, чистила, что-то резала, готовила мясо для рагу и лепила тефтели.

Одна нога у нее была короче другой, и при весе более двухсот фунтов она не могла долго стоять. Спокойная, уравновешенная, со сросшимися бровями, маленьким курносым носом, она красилась в черный цвет; краску она получала по почте из Алтуны и наносила на волосы старой зубной щеткой, которую хранила в стакане на подоконнике в ванной; в результате ее косы обретали особый индейский блеск. Они спускались по щекам к многослойному подбородку. Ее черные глаза были маленькими, но бесконечно добрыми; эта ка-

толичка легко раздавала индугенции. У Джимми имелось четыре брата и три сестры, некоторые непонятно чем занимались, но все были доброжелательны и радушны, даже замужние старшие дочери и взрослые сыновья. Двое ее детей находились в разводе, одна дочь овдовела, и в кухне миссис Клейн все время толклись внуки – кто-то приходил перекусить на школьной перемене или после уроков выпить какао, на полу ползали малыши, а самые маленькие лежали в колясках. В то благополучное время все зарабатывали деньги и все же имели свои трудности. Гилберту приходилось платить алименты, а его разведенная сестра Велма нерегулярно получала причитающиеся ей деньги. Муж в ссоре выбил ей зуб и теперь приходил к теще, умоляя заступиться за него перед дочерью и разрешить вернуться. Я видел, как он плакал, уронив рыжую голову на стол, пока сыновья и дочери играли внутри его такси. Он хорошо зарабатывал, однако держал Велму в черном теле, полагая, что, нуждаясь, она скорее к нему вернется. Но она брала в долг у семьи. Я никогда не видел, чтобы люди с такой легкостью занимали и одалживали деньги, которые здесь то и дело меняли хозяев, и никто не выражал неудовольствия.

Но, похоже, семейству требовалось много разных вещей, и все покупались в рассрочку. Джимми посылали оплачивать взносы – я отправлялся с ним; деньги он прятал под кепку. Платили за граммофон, швейную машину «Зингер», мохеровый гарнитур, пепельницы, которые не переворачивались,

коляски, велосипеды, линолеум, стоматологическую и акушерскую помощь, похороны отца мистера Клейна, корсеты и ортопедическую обувь для миссис Клейн, семейные фотографии, сделанные на свадьбе. Чтобы выполнить эти поручения, мы обходили весь город. Миссис Клейн не возражала против наших частых походов в кино, чтобы увидеть, как Софи Такер<sup>33</sup> хлопает себя по заду и поет «Раскаленная страстью мама», а танцовщица Роуз Ла Роуз, слегка покачиваясь, лениво раздевается, приводя в восторг Коблина.

– Эта девушка не просто красивая, – говорил он. – Красивых много, эта же чувствует мужское сердце. Она не сбрасывает с себя одежду, как другие, а медленно стягивает через голову. Вот почему она достигла славы.

Мы ходили в кинотеатр «Луп» во время школьных занятий гораздо чаще, чем следовало, и постоянно сталкивались в очереди с Коблином. Тот ни разу не донес на меня, только однажды спросил:

– А что, Оги, мэр закрыл школу?

Как всегда веселый, улыбающийся и счастливый, в зеленовато-красном свете зала он походил на короля шотландских туманов, у которого одна половина лица изумрудная, а другая рубиновая.

– Что за фильм?

– Барделис Великолепный<sup>34</sup> плюс Дэйв Аполлон с испол-

---

<sup>33</sup> *Софи Такер* (1884–1976) – американская эстрадная певица.

<sup>34</sup> Фильм Кинга Видора (1926) о Барделисе Великолепном, фаворите Людовика

нителями «Камаринской». Пойдем, составите мне компанию.

Как раз в то время у нас была причина прогуливать школу. Стив (Моряк Булба), мой недоброжелатель, с красным носом, аккуратно подстриженными длинными волосами и короткими бачками наводчика, казался опасным; грубый, с тяжелым задом, облаченный в обтрепанные матросские штаны со множеством пуговиц, в угрожающе остроносых ботинках: вылитый грабитель, ворующий сантехнику и взламывающий монетоприемники в недавно освободившихся квартирах, – так вот этот Булба взял мою тетрадь по естествознанию и выдал за свою. Справиться с Булбой я не мог, и потому Джимми дал мне свои записи, а я небрежно стер на тетради его имя и написал свое. Нас разоблачили, и пришлось прибегать к помощи Саймона. Тот, как и я, не хотел впутывать в это дело Маму. В конечном счете он всегда мог перехитрить Уиглера, учителя естествознания. Но все равно Булба, чьи маленькие глазки смотрели спокойно, и только по безмятежному, мирному лбу пробегали легкие морщинки от слабого зимнего солнца, проникшего в класс, старался так воткнуть свой складной нож в дерево, чтобы тот стоял как готовое к атаке насекомое.

После всего этого Джимми не составило труда склонить меня ездить с ним в центр – особенно в те дни, когда были уроки естествознания, и за неимением лучшего катать-

ся с его братом Томом в лифте городской мэрии, взлетая из сверкавшего позолотой вестибюля к муниципальным судам. Мы поднимались и опускались в кабине в тесной близости с важными персонами и просто чиновниками, бутлегерами, хапугами, посыльными, шантажистами, бандитами, развратниками, посредниками, истцами, полицейскими, мужчинами в ковбойских шляпах, женщинами в туфлях из крокодиловой кожи и меховых манти; здесь смешались арктические сквозняки и оранжерейное тепло, жестокость и чувственность, свидетельства регулярного переедания и ежедневного бритья, расчета, несчастий, безразличия и надежд на миллионы, сделанные на бетоне или на контрабандных виски и пиве, текущих как Миссисипи.

Томми посылал нас в контору своего биржевого маклера на Лейк-стрит, расположенную позади магазина, торгующего сигарами, а впоследствии перешедшего на туристические справочники. У Томми была возможность хорошо заработать. И даже в те дни, когда деньги лились рекой, он лишь изредка ловил удачу. Но все шло либо на одежду, либо на подарки родным. Клейны любили делать подарки. Дареные халаты, сигары, венецианские зеркала и гобелены с изображением замков в лунном свете, сервировочные и приставные столики, лампы на ониксовых ножках, фильтры и электрические тостеры, романы – коробки с этими вещами запихивались в шкафы и засовывались под кровати, дожидаясь, когда они понадобятся. Однако Клейны не производили впечатле-

ния обеспеченных людей – разве только по воскресеньям, когда наряжались в лучшую одежду. Обычно старик Клейн носил жилет поверх нижней рубашки и сам сворачивал при помощи машинки сигареты.

Элеонора, единственная незамужняя дочь Клейнов, походила на цыганку и носила все яркое, цветастое, в японском стиле. Рыхлая и бледная, с умным взглядом черкешенки, очень добрая, примирившаяся со своим жалким жребием, она была слишком толстой, чтобы найти мужа, но нисколько не завидовала замужним сестрам и энергичным братьям, ее всегда доброжелательное приветствие казалось почти мужским, дружеским. Она была особенно добра ко мне, называла «дружок», «братик» и «сердцеед», гадала на картах и связала желто-зеленую конькобежную шапочку с тремя острыми верхушками, чтобы я выглядел на пруду как норвежский чемпион. Когда Элеонора хорошо себя чувствовала (у нее был ревматизм и не все в порядке по женской линии), она работала в отделе упаковки на мыловаренном заводе в Норт-Бранч; дома же, в ярком цветастом платье, сидела с матерью на кухне, густые черные волосы, выпущенные на волю из пучка, свободно ниспадали на плечи; она пила кофе, вязала, читала, брила ноги, слушала оперетки на граммофоне, красила ногти и, делая эти необходимые или совсем ненужные вещи, незаметно все глубже погружалась в состояние, когда встать уже не хотелось.

Клейны уважали Бабушку Лош и восхищались ею за за-

боту о нас. Но Бабуля узнала от какого-то доморощенного пинкертона, что люди видели, как Джорджи возился с цыпльятами между домами – эти цыпльята никогда не вырастали из-за недостатка солнечного света и полноценного питания, теряли перья и умирали худосочными неизвестно в каком возрасте, – и тогда она разозлилась, принялась ругать Клейнов последними словами.

Она не стала объясняться с ними по этому поводу – скандалить не имело смысла: ведь мне порой давали возможность заработать благодаря влиянию Тамбоу, дяди Джимми, большой шишки в республиканском комитете нашего района. Самое хорошее время было перед выборами: мы разносили пропагандистскую литературу. Тамбоу часто привлекал нас, когда в его ведомстве возникали проблемы вроде потерянных почтой вещей или поврежденных при банкротстве товаров. Чтобы отвлечь его от карточной игры, должно было случиться что-то важное, но, когда он закупал не обложенные налогом партии бритв, кожаных ремней, кукольной посуды, игрушечных ксилофонов, стеклорезов, мыла для гостиниц, аптекчек, то ставил на Милуоки-авеню киоск и нанимал нас для торговли в нем. Собственные сыновья отказывались на него работать.

Разведенный, он жил в одной комнате. На обвислом лице выделялся огромный нос, под серо-голубыми глазами набрякли мешки, как у птиц, питающихся рыбой. Снисходительный, на вид деятельный и очень тучный, он, сидя на сту-

ле, казался ващего<sup>35</sup>, утопающим в седле; насвистывал, когда вес не давил, а во рту не было сигары; из носа и на костяшках пальцев у него росли волосы. Он не видел разницы между временами года. Будь то май или ноябрь, за завтраком в одиннадцать часов он всегда пил чай с молоком, кусочком сахара и свежими булочками, обедал бифштеком с печеным картофелем, выкуривал в день десять – двенадцать сигарет «Бен Бейс», носил одни и те же полосатые брюки чиновника и темную консервативную шляпу, создающую ореол власти вокруг и без того излучавшего силу лица, и это пока он обдумывал, раскрывать ли сейчас карты, идти с валета или туза, давать или не давать сыну Клементи два бакса, которые тот клянчил. Младший сын Клементи жил с матерью и отчимом в задней части принадлежавшего им магазина детской одежды. «С радостью, сынок» или «Завтра, с радостью», – говорил Тамбоу. Он никогда не отказывал сыновьям, живущим с отчимом. Несмотря на все свои грехи, складки жира на брэнном теле, на почти постоянное пребывание в сиянии ресторана, ставшего его штаб-квартирой, осыпавшийся пепел на коленях, чай, карты в одной руке, он не был жадным человеком и, как все Клейны, царственно обращался с деньгами. Клем тоже легко их тратил и любил всех угощать. Однако работать он не хотел – ни на своего отца, ни на кого-то другого. Поэтому Тамбоу привлекал нас во главе с Сильвестром к торговле на шумной Милуоки-авеню, договаривался

---

<sup>35</sup> Пастух на лошади (*исп.*).

с полицией, чтобы нас не беспокоили, а сам возвращался к карточной игре.

Для Сильвестра наступили плохие времена. Он утратил лицензию на кинотеатр, который прекратил свое существование – теперь это был хозяйственный магазин, – и жил с отцом; жена от него ушла и, по его словам, когда он приходил на задний двор взглянуть на нее, швырялась камнями. Он оставил попытки вернуть сумасшедшую и послал письмо, в котором соглашался на развод. Чтобы достать деньги на учебу в институте оружейных технологий, где он стремился получить диплом инженера, Сильвестр продал обстановку и киноаппаратуру, а теперь говорил, что пропустил слишком много занятий, чтобы снова вернуться в класс. Со слезящимися на ноябрьском ветру глазами он стоял с нами на Милуоки-авеню, засунув руки в карманы пальто, понурился, переминаясь с ноги на ногу, и отпускал грустные шуточки. Разница в возрасте его не смущала. Он поверял нам все свои мысли. Получив диплом, он увидит весь мир. Французские власти жаждут заполучить американских инженеров, и он сам в состоянии заказать себе билет. Можно поехать и в Кимберли, он верит, что местные рабочие глотают алмазы, пытаясь их украсть. Или в Советскую Россию – он уже успел рассказать нам, что симпатизирует красным, восхищается Лениным и особенно Троцким, выигравшим Гражданскую войну, – тот ездит на танке и читает французские романы; что до царя, то его, а также попов, магнатов, генералов

и помещиков выкурили из их дворцов.

А мы с Джимми в это время, сидя на двух больших чемоданах Тамбоу, зазывали народ:

– А ну подходи, купи бритву! – Нас больше интересовал бизнес. Сильвестр же собирал деньги.

## Глава 4

Все оказывающие на меня влияние люди выстроились в очередь, чтобы заполучить свою жертву. Я родился, им же предстояло сформировать меня – вот почему я больше рассказываю о них, чем о себе.

В то время, да и позднее, я с трудом делал выводы, и старая дама никогда не достигала цели, составляя свои прогнозы и предупреждая о том, что меня ждет, – трудовое свидетельство, участь скотника, землекопа, каторжные работы на рудниках, хлеб да вода, невежество и деградация. Когда я связался с Джимми Клейном, ее заклинания стали еще более пылкими; она старалась укрепить домашнюю дисциплину, перед школой проверяла чистоту моих ногтей и воротничка, тщательнее контролировала мои манеры за столом и грозила запира́ть меня вечерами, если я буду приходить после десяти.

– Тогда иди к Клейнам, если тебя только пустят. Послушай меня, Оги. Я пытаюсь сделать из тебя человека. Но не могу же я заставить Маму ходить за тобой по пятам и смотреть, как бы ты чего не натворил. Я хочу видеть тебя mensch<sup>36</sup>. У тебя не так много времени на то, чтобы исправиться. Мальчишка Клейн не доведет тебя до добра. У него

---

<sup>36</sup> Человеком (нем.).

глаза воришки. Скажи мне правду – он ворует? Ага! Молчишь! Значит, правда, – сказала она, резко меня отталкивая. – Говори же!

– Нет, – бесстрастно ответил я, мучительно соображая, кто и что мог ей рассказать. Ведь Джимми, подобно Стаху Копецу, тащил из магазинов и лавок все, что ему нравилось. И как раз в это время мы проворачивали одну неблагоприятную операцию в расположенном по соседству универсаме Дивера, в отделе игрушек, куда нас взяли на Рождество помощниками Санта-Клауса. Нас нарядили эльфами, раскрасили лица.

Эту роль мы, школьные выпускники, прямо скажем, переросли, но и сам Санта-Клаус был огромного роста разнорабочий, швед по национальности, занятый на заднем дворе при магазине, а в прошлом кочегар на пароходе из Дулута, – гора мышц, глазницы неандертальца, бугристый лоб и набитый табаком «Копенгаген» рот, запряганный в окладистую бороду. Чтобы казаться толще, он привязал подушки поверх дырявого нижнего белья и набил ватой брюки, потому что ноги у него были длинные и тощие, а мы помогли ему облачиться в красную куртку. Разрисованные и раскрашенные театральным гримом, обсыпанные снежной крошкой из слюды, мы с Джимми обходили магазин с бубнами и дудочками, попутно кувыркаясь в шутовских костюмах из бильярдной ткани; все малыши устремлялись за нами, и мы вели их на третий этаж, где сидел в санях шведский Санта-Клаус с искусно прикреп-

ленным к потолку оленем; позвякивали игрушечные паровозики, корзинки для денег быстро двигались на канатах к кассе. Здесь мы раздавали подарки с сюрпризом – коробки, упакованные в красную и зеленую бумагу, украшенные остролистом и сверкающими блестками, перевязанные серебряными ленточками. Рождественские подарки продавались по пятьдесят центов; Джимми решил, что проверка тут невозможна, и стал присваивать каждую десятую монету по двадцать пять центов. Несколько дней он ничего мне не говорил – только угощал завтраком. Но бизнес набирал обороты, и он открыл мне свою тайну. Нам следовало нести деньги кассиру, когда скапливалось десять долларов.

– Она сует их сразу в мешок вместе с мелочью, – сказал он. – И не отмечает, откуда поступают деньги – слишком занята, – так почему нам не воспользоваться этим?

После долгих споров было решено поднять наш процент до двух двадцатипятицентовиков из десяти. Вокруг стоял страшный шум, блеск слепил глаза; рождественский звон, гам, песенки, звучание колокольчиков привлекали всеобщее внимание, так что тайные движения наших ручонков никто не замечал. Мы украли значительную сумму. У Джимми улов был больше. И не только потому, что он раньше начал, – просто первые дни я плохо соображал: такой эффект произвел на меня торт со жженым сахаром и сливочным кремом и прочие вкусные вещи, в которых мы себе не отказывали. А может, из-за нервной экзальтации, сопровождавшей уда-

чу в нашем противоправном деле, и проблемы, как израсходовать деньги. Джимми большую часть потратил на подарки – для каждого члена семьи элегантные тапочки и домашние туфли, украшенные перьями, смокинги, яркие галстуки, коврики и алюминиевая посуда «Уэревер». Я подарил Маме купальный халат, старой даме – камею, Джорджи – клетчатые чулки, а Саймону – сорочку. Миссис Клейн и Элеонора тоже получили от меня подарки и еще некоторые девочки в школе.

Дни, когда мы не работали, я обычно проводил у Клейнов, где подоконники были на одном уровне с тротуаром; я наслаждался, сидя на диване в гостиной и представляя себя Роджером Туи<sup>37</sup>, Томми О’Коннором<sup>38</sup>, Бейзилом Бангхартом<sup>39</sup>, Диллинджером<sup>40</sup>, менявшими лица с помощью пластических хирургов, прижигавшими кислотой подушечки пальцев, раскладывавшими пасьянсы, следящими за спортивными результатами, посылавшими за гамбургерами и молочными коктейлями, которых в конце концов ловили в ки-

---

<sup>37</sup> *Роджер Туи* (1898–1959) – чикагский гангстер. В 1934 г. осужден на 99 лет за похищение детей. В 1959 г. убит при попытке к бегству.

<sup>38</sup> *Томми О’Коннор* (1889–?) – чикагский гангстер. Бежал из тюрьмы за три дня до казни за убийство полицейского. Дальнейшая судьба неизвестна.

<sup>39</sup> *Бейзил Бангхарт* (1900–?) – профессиональный вор, угонщик автомобилей. В 1926 г. бежал из тюрьмы, был арестован еще несколько раз и вновь бежал. Освобожден в 1960 г.

<sup>40</sup> *Джон Диллинджер* (1903–1934) – грабитель банков. С 1924 по 1933 г. находился в заключении.

но или на крыше. Иногда мы составляли генеалогическое древо Джимми: Клейны верили, что их ветвь берет начало в тринадцатом веке от испанского рода Авила. Создателем этой теории был кузен из Мехико, шьющий кожаные куртки. Я с готовностью принимал такие счастливые зигзаги происхождения и вместе с Джимми на разрисованной бумаге раскрашивал его фамильное древо красными чернилами и тушью. На душе было неспокойно.

На исходе рождественских праздников Дивер узнал о наших проделках. Менеджер отдела приходил к нам домой и говорил с Бабулей. Провели инвентаризацию товара. Мы не пытались отпираться; я, во всяком случае, не спорил, когда менеджер насчитал семьдесят долларов убытку, хотя украденная сумма была на самом деле меньше. Сначала старая дама отказалась мне помогать. Ледяным голосом она попросила Саймона связаться с Лубиным из благотворительного фонда: у нее нет возможности платить за меня, она помогает воспитывать детей, но не станет возиться с преступником. Саймон убедил ее изменить мнение: по его словам, фонд захочет знать, как долго мы работали и почему не сообщили об этом. Конечно, у старой дамы не было ни малейшего намерения отправить меня в исправительное заведение, хотя она и грозилась это сделать. Однако угроза прозвучала, и я готовился предстать перед судом для малолетних преступников с последующим переходом в исправительный дом, с почти китайским послушанием собирался принять любое наказа-

ние, учитывая, что натворил. В какой-то степени это говорило о том, что я сознавал: все сердятся – значит, правы. С другой стороны, я не чувствовал себя преступником, не чувствовал, что пересек черту и нахожусь теперь там, где пребывают худшие представители человечества, носящие на себе особые приметы – шрамы на бровях, уродливые большие пальцы, рваные уши или носы.

На этот раз меня не изводили руганью или угрозами, но обдавали презрением. После первого оглушительного разноса Бабуля говорила со мной холодно. Саймон держался сухо. Я не смел напомнить, как он советовал мне мухлевать, давая сдачу, – на это последовал бы ответ, что я дурак и он не понимает, о чем это я. Мама, должно быть, в очередной раз переживала, что родилась под несчастливой звездой и наступило окончательное возмездие за ее опрометчивый союз с нашим отцом. Даже она сказала мне несколько резких слов. Переживал я ужасно. И все же не стал вымаливать у них прощения, хотя меня совсем не привлекала перспектива сесть в тюрьму, ходить с бритой головой, есть всякую бурду, вязнуть в грязи, и чтобы при этом мной еще помыкали и командовали. Если решат, что я должен это испытать, так тому и быть.

На самом деле исправительная колония мне не грозила. Халат, камею и прочие вещи вернули. Взяли мое жалованье у Коблинов и оставшиеся сбережения. Семья Джимми тоже его выручила. Отец крепко поколотил сына, мать наорала, –

словом, он отделался легче, чем я. У нас наказание было более суровым. На меня в доме Клейнов тоже долго не дулись, они не считали произошедшее грехом, способным нанести непоправимый вред моей душе. Уже через несколько дней я опять стал желанным гостем, и Элеонора вновь звала меня своим дружком и вязала теплый шарф взамен того, который пришлось отдать.

Справившись с паникой – надо сказать, держался Джимми внешне невозмутимо, даже с дозой цинизма, и перенес яростную отцовскую порку не поморщившись, – стал возмущаться, что Дивер на нас нажился. Так оно и было. Джимми вынашивал планы мести, подумывал даже о поджоге, но я был сыт по горло этой историей, да и Джимми тоже – просто такими мыслями выпускал пар.

Клем Тамбоу, двоюродный брат Джимми, смеялся от души, слушая, как мы обсуждаем идею поджога и прочие отчаянные варианты. Он сказал, что, если мы хотим частично возместить утраченные деньги, нам надо попасть на соревнования по чарльстону в Уэббере и попробовать честно заработать. И это не было шуткой. Сам он мечтал стать актером и уже выступил как любитель, изображая англичанина, который рассказывает длинную историю о том, что случилось с ним в Хайберском проходе<sup>41</sup>. Поляки и шведы освистали его, и распорядитель вечера выставил новичка за дверь. А вот его

---

<sup>41</sup> Проход между хребтами Спингар и Хиндурадж на границе между Афганистаном и Пакистаном.

брат Дональд действительно заработал пять долларов, спев «Маркиту» и сбавив чечетку. Дональд, красавец с черными кудрями, пошел в мать – та тоже была красивая и величавая и в своем магазине носила черные платья и пенсне. Она часто вспоминала своего брата-промышленника, во время войны умершего от тифа в Варшаве. Клем больше походил на отца – румяный, с худым лицом, большим носом, пухлыми губами, не хватало только отцовской полноты. Он мог бы победить на городских соревнованиях в беге на полмили, если бы не сигары, из-за которых заработал одышку, и – этим он особенно похвалялся – занятия тем, что в медицинских справочниках называют онанизмом и истощением мужских сил. Он подсмеивался над своими грешками и прочими пороками, осуждаемыми добродетельными людьми, и важно ходил по спортивной дорожке – бедра его были такими же тощими, как икры, и поросли прямыми черными волосами, – снисходительно поглядывая на соперников – простаков, усиленно разминавшихся, подпрыгивающих и делающих физические упражнения. В то же время он мог быть неуверенным, задумчивым; его черные глаза на искрящемся остроумием лице часто туманились меланхолией. Иногда он погружался в глубины печали.

– Нет ничего такого, чего ты не сделал бы лучше меня, – говорил он, – стоит только постараться. Да, именно так, – продолжал Клем. – Ты можешь иметь такую телку, какая на меня даже не взглянет. – В этом вопросе он отдавал мне

первенство. – Особенно с твоими зубами. Они великолепны. Мать упустила мои. Если когда-нибудь наступит мой звездный час, придется носить протезы.

Меня смешило почти все, что он говорил, и Клем частенько называл меня дурачком.

– Бедняга Марч, его так легко рассмешить.

В целом мы хорошо ладили. Он снисходительно относился к моей неопытности и вместе с Джимми очень помог мне, когда я влюбился, испытав все классические симптомы этого чувства – потерю аппетита, полную отрешенность, страстное нетерпение, повышенное внимание к своему внешнему виду, некомпетентность, мысли, почерпнутые из мира кино, и фразы из популярных песен. Девушку звали Хильда Новинсон – высокая, с маленьким личиком, она, помимо бледной кожи, имела и другие признаки слабой груди, говорила тихо и робко, хотя чуть торопливо. Я ни разу с ней и словом не обмолвился, но часто проходил мимо, притворяясь, будто иду по делу, внутренне изнемогая от восторга и болезненной судороги. Неуклюже ступая, я изображал полное равнодушие, прикидываясь, что думаю о посторонних вещах. Русское лицо, светлые глаза, опущенные вниз и избегавшие прямого взгляда, – она казалась старше своего возраста. Хильда ходила в зеленой куртке и курила; кипу школьных учебников она носила, прижав к груди, и пряжки ее открытых туфель позвякивали на ходу. Вид туфель на высоком каблуке и легкое позвякивание вонзались в мою охваченную любовью

душу, как множество огненных стрелок, мучили идиотским желанием пасть перед ней на колени. Позже, повзрослев, я утратил эту способность – стал более страстным, – но поначалу был само целомудрие, жаждал чистого чувства, получив, возможно по наследству, большой запас любви.

Мне даже в голову не приходило, что Хильде могут льстить мои преследования, и я очень удивился, когда Клем и Джимми убедили меня в этом. Я таскался за ней по коридорам школы, не спускал глаз на баскетбольных матчах, ходил в клуб «Бонер», чтобы хоть раз в неделю, после школы, находиться с ней в одной комнате, а когда она возвращалась домой, стоял на задней площадке трамвая, жутко страдая. Хильда выходила с передней площадки, и я спрыгивал прямо в пропитанный копотью сугроб на грязной мокрой дощатой мостовой Вест-Сайд-стрит. Ее отец был портной, и семья жила позади мастерской. Хильда проходила внутрь и скрывалась за занавеской – что она там делала? Снимала перчатки? Туфли? Пила какао? Курила? Сам я не курил. Читала книжки? Жаловалась на головную боль? Рассказывала матери по секрету, что я в этот зимний день слоняюсь вокруг дома на их мрачной улице, тяжело ступая в овчинном тулупе? Нет, не думаю. И ее отец, похоже, тоже ничего не знал о моем существовании. Я мог сколько угодно глазеть на этого худого небритого сутулого мужчину, который вкалывал булавки, что-то протирал губкой, гладил утюгом и выглядел усталым и рассеянным. А Хильда, скрывшись в глубине дома, больше

не показывалась – видимо, никаких дел на улице не было.

– Угораздило же втюриться в малышку! – презрительно сморщив нос, говорил Клем Тамбоу. – Давай отведу тебя к настоящей шлюхе, и ты сразу забудешь свою красавицу. – Я, понятно, молчал. – Тогда я напишу письмо от твоего имени и назначу свидание. Стоит тебе пройтись с ней разок по улице и поцеловаться, и ты спасен. Сам увидишь, как она глупа и не красавица вовсе – у нее плохие зубы. – И это меня тоже не убедило. – Хорошо, я поговорю с ней. Скажу, чтобы хватала тебя, пока ты не прозрел. Ей больше никогда не видеть такого красавца, и она должна это знать. Что тебя так привлекает? Думаю, то, что она курит.

В разговор вступил Джимми:

– Не трогай его, ему нравится ходить с торчащим факелом. – Тут они похабно ухватились за свои гениталии и рухнули на диван в гостиной Клейнов – нашего клуба. И все же я не прекратил свое грустное, полное обожания хождение за девушкой и словно раскрашенное бревно стоял в сумерках напротив мастерской портного. Ее тощий отец, склонившись, орудовал иглой, и его совершенно не волновало, что он виден сквозь освещенное окно; ее маленькая сестра с худеньким, цыплячьим телом в черных спортивных брючках резала бумагу большими портняжными ножницами.

Острый приступ влюбленности продолжался несколько недель, и все это время я по-прежнему был в немилости у домашних. Положение не улучшалось и то, что в любовном угаре

я приносил домой очень мало денег. Саймон теперь уходил и приходил когда хотел, и никто не смел задавать ему вопросы, поскольку он работал. Мы уже не возвращались домой на ланч, и так получилось, что Мама взяла на себя наши полуденные обязанности: приносила уголь, прогуливала Винни, приводила из школы Джорджа, а в дни стирки с трудом выжимала простыни, становясь от этой дополнительной работы все более осунувшейся и изнуренной. В атмосфере витал дух анархии, беспорядка и неких, нагнетаемых извне, сил; все это готовило удар, который, как в прежние времена, заставит пошатнуться дворцы и разобьет о стены головы придворных.

– Ну что, Оги? Что скажешь? Ты бросил работать? – спросила Бабуля. – Бросил? Хочешь всю жизнь прожить на милостыню от благотворительного фонда?

У меня была небольшая работенка в цветочном магазине. Но в те дни, когда ошивался в клубе «Бонер» или шел по грязному снегу за Хильдой Новинсон, я точно знал, что у Блюгрена нет для меня поручений.

Блюгрэн мог вызвать меня на работу в любой день, обычно для того чтобы расправить венок и укрепить проволокой его основу (среди клиентов были крупные гангстеры), а не только для доставки товара, где, он полагал, я гребу солидные чаевые, – по большей части так и было. Мне не нравилось ездить на трамваях с огромными похоронными венками или букетами, потому что во второй половине дня многие

возвращались с работы и мне приходилось отвоевывать себе пространство, телом закрывая цветы, которые я ставил в угол, и спасать их от кондукторов и измученных пассажиров, изрядно мне досаждавших. А если я шел в похоронное бюро, таща на себе упакованные предметы, как музыкант – контрабас, и медленно продираясь сквозь гудки автомобилей, скрежет тормозов и скопление людей, то лежавшие в тиши плюша и розоватом сиянии красного дерева вряд ли могли дать мне на чай, меня же в моей конькобежной шапочке, с сопливым носом, который я время от времени утирал шерстяной перчаткой, встречал рядовой служитель. Иногда я попадал на поминки, где присутствующих обносили контрабандным дешевым виски в одном из стоящих в стороне зеленых домиков, к ним вела дощатая дорожка, проложенная поверх дворовой грязи, там собирались родные и близкие покойного. Когда вносишь цветы в такую пропахшую виски траурную комнату, тебя, несмотря на ситуацию, обязательно заметят – не так, как в других местах, уж я насмотрелся – и не дадут уйти: насыпят мелочи не меньше доллара, оттянув кепку. И все же больше всего мне нравилось находиться в магазине – в этих елисейских полях со множеством цветов, сваленных в задней комнате рядом с ящиками, наполненными плодородной землей, или торчащих за толстыми стеклами ледника: роз, гвоздик, хризантем. Ведь я же был влюблен.

Блюгрэн был весьма представительным человеком – светлокожий, лысый, важный; его крупное тело так и светилось

здоровьем, он ходил в друзьях у гангстеров и бутлегеров, был близок с гангстером Джейком Брадобреем и одно время с некоронованным королем северного района Чикаго Дионом О'Бэннионом, тоже торговавшим цветами, – его и шлепнули в собственном магазине трое мужчин, сказавших, что они от Джонни Торрио, и потом уехавших в синем «джоветте». Обрезая розу, Блюгрэн надевал перчатки, спасаясь от шипов. У него были холодные голубые глаза и большой мясистый нос, уставший от обилия запахов. Думаю, возникает путаница, когда у тебя коварные мысли и открытое лицо, или наоборот – коварное лицо и открытые мысли. Блюгрэн принадлежал к первому типу – как мне кажется, из-за своих отношений с гангстерами, последствий страха и неуверенности. Такая жизнь сформировала его. Он мог быть грубым и резким, подчас сварливым, особенно после какого-нибудь крупного убийства – одного из братьев Генна или Айелло<sup>42</sup>. Той зимой многих парней поубивали.

Та зима была плохой для всех – не только для известных людей, но и для тех, которых ничто не волновало, кроме собственных дел, ибо сердца и ум их работали вяло. Например, для Крейндла, Элеоноры Клейн или моей матери. У Крейндла расходились нервы, и он устраивал жуткие сцены в своем полуподвале – бил посуду и топал ногами. Элеонора совсем приуныла и часто, закрывшись в своей комнате, оплакивала незадавшуюся жизнь. Причин для таких реакций хватало,

---

<sup>42</sup> Грозные, могущественные кланы чикагской мафии 1920-х гг.

они всех могли затронуть – как раз в духе времени. Я сам мог впасть в хандру, если бы не Хильда Новинсон.

Мама тоже нервничала, но, коли ее хорошо не знать, этого не поймешь – никаких видимых признаков нервозности. Я догадался об этом по упрямству, проступавшему сквозь обычную покорность, по отрешенному взгляду больных зеленых глаз и по тому, как высоко вздымалась ее грудь, – такого не было даже во время работы. Она настороженно чего-то ждала.

Наконец мы узнали, в чем дело: старая дама решила нанести удар. Она дождалась, когда все собрались к ужину. Я вернулся, доставив по назначению похоронные венки, Саймон пришел с вокзала. Старуха, проявив обычную резкость, заявила, что пора что-то делать с Джорджем, ведь он растет. На ужин было тушеное мясо, и все, в том числе наш младшенький, продолжали есть, подбирая подливку. Но в отличие от старой дамы я никогда не считал малыша безмозглым существом; даже пуделица таковой не являлась: оглохнув перед смертью, она все равно понимала, когда говорили о ней. Могу утверждать, что порой, если его обсуждали, на лице Джорджи появлялась улыбка Джоконды; неувловимая судорога пробегала по белесым ресницам и щекам – отблеск мудрости, заточенной в неразумии и толкующей жизнь каждого из нас. Бабуля не первый раз поднимала разговор о будущем Джорджи, но теперь это было не очередное предупреждение, а требование решить проблему. Думаю, Мама все

знала: вопрошающий взгляд не сходил с ее лица.

– Когда-то надо набраться смелости, – сказала старая дама. – Он так вырос, что уже похож на мужчину, с ним трудно справляться. Что, если вдруг ему взбредет в голову наброситься на какую-нибудь девушку и нам придется иметь дело с полицией?

Так она укоряла нас за упрямство, непослушание, легкомыслие, непонимание истинного положения вещей. Я знал, что всему причиной мое поведение.

– Джорджи место в специализированном заведении, – сказала она. – Ясно, что он не может оставаться с нами всю жизнь, да у нас и сил не хватит вынести такую нагрузку. Кроме того, Джорджи надо чему-то научиться: плести корзины, делать щетки или еще что-то, чему учат слабоумных, – овладеть ремеслом, чтобы оплачивать содержание. – Свою речь она подкрепила серьезным аргументом: – Соседи, у которых есть маленькие дочери, выказывают недовольство тем, что Джорджи слоняется по округе, ведь ему уже пора носить брюки для взрослых. – Не пытайся скрыть отвращения, старая дама добавила: – Мальчик достиг половой зрелости. И это не следует упускать из внимания. – С недовольной гримасой она закончила выступление, заразив нас своим страхом.

Бабуля наслаждалась, заставив нас глотнуть изготовленной ею микстуры под названием «реальность», и наблюдала, насколько отрезвляющий эффект она на нас произведет.

Когда старуха умолкла, на ее лице было жуткое выражение острого удовольствия. Брови вопросительно поднялись. Думаю, Джорджи не понял, о чем речь, поскольку продолжал добирать подливку. Не хочу утверждать, что позиция Бабули была мерзкой, а сам Джорджи – ангел во плоти. Это неправда. Она с трудом решилась внести столь шокирующее предложение, направленное на нашу пользу. У нас не хватило бы силы или мудрости произнести такое. Как и многим любящим добрым людям, которым, однако, тоже надо жить, и потому они зависят от более жестких среди них. Но тут я несколько оправдываю Бабулю. Подобная роль все же принесла ей удовлетворение. И она возбужденно выдохнула про себя: «Ага!», поставив нам, как в шахматах, мат. Продолжалось то же самое: мы отказывались понимать, куда нас приведут наши ошибки, и тогда происходило худшее. Вроде медведиц Елисея, набросившихся на детей, дразнивших пророка<sup>43</sup>, или Божьей кары, постигшей одного еврея за то, что он бездумно протянул руку, чтобы удержать ковчег от падения с телеги<sup>44</sup>. Наказание за ошибки, которые некогда исправлять, и потому все осталось по-прежнему. Бабуля была счастлива, когда могла нанести упреждающий удар, и всегда предосте-

---

<sup>43</sup> Четвертая книга Царств: по дороге в Вефиль дети издевались над пророком Елисеем, называя плешивым. Он проклял их, и тогда из леса вышли две медведицы и растерзали детей (2: 23–24).

<sup>44</sup> Вторая книга Царств: когда Давид перевозил ковчег Божий на новое место, Оза, сын Аминадава, простер руку свою, чтобы удержать ковчег, и взялся за него. За это Бог поразил его, и тот умер на месте.

регала нас от излишней беспечности.

А Джорджи сидел, закинув ногу на ногу, и ел соус с блаженным выражением слабоумного серафима, что резко контрастировало с нашими земными рассуждениями. Мама пыталась оправдаться, ее голос звенел от боли, но она только вносила путаницу. Она и в хорошее время с трудом подбирала нужные слова, а в волнении или возбуждении ее вообще нельзя было понять. Тут Джорджи прекратил есть и заплакал.

– Еще ты! Замолчи сейчас же! – приказала старая дама.

Я вступился за него и Маму. Сказал, что Джорджи не сделал пока ничего плохого и мы хотели бы оставить его дома.

Она ждала этого от меня и успела подготовиться.

– Korfmensch meiner<sup>45</sup>, – произнесла она с иронией. – Генний! Хочешь дожидаться, когда он попадет в беду? Разве тебя найдешь, когда ты ему нужен? Ты шляешься по улицам и закоулкам с Клейном, этим хулиганом, учишься воровать и еще чему-нибудь похуже. Может, тебе доставит радость быть дядей ублюдку, который родится от твоего брата у польской девушки с белокурыми волосами, и объяснять ее отцу, скотнику, что Джордж теперь ему зять? Да он приберет тебя кувалдой, как быка, и сожжет наш дом.

– Ну, – сказал Саймон, – если Оги действительно берется о нем заботиться...

– Даже будь Оги ответственнее, – быстро нашлась старая

---

<sup>45</sup> Умница ты мой (нем.).

дама, – какой в этом толк? Он работает через пень-колоду – больше проблем, чем денег. Но представь, что случится, если он совсем перестанет работать! Будет оставлять мальчишку у Клейнов и шататься без дела со своим дружкой. Ох, я знаю твоего брата, мой дорогой: у него большое сердце, когда это ничего ему не стоит, просто золотое, и он пообещает все, что угодно, если его растрогать. Думаю, тебе не надо говорить, насколько он надежен. Но будь он так же хорош, как его обещания, можно ли ему позволить не приносить домой даже те гроши, что он зарабатывает? А? Ты что, получил наследство? Можешь иметь служанок, гувернанток, учителей, каких нанимал Лош, положивший жизнь за своих сыновей? Я старалась как могла, чтобы ты получил хоть какое-то образование, приличное воспитание, даже пыталась сделать из тебя джентльмена. Однако ты должен понимать, кто ты, чем занимаешься, и не витать в облаках. Так что думай в первую очередь о себе – жизнь по головке не погладит. Я повидала побольше тебя – знаю, как расплачиваются за ошибки и сколько возможностей упускают по одной только глупости, не говоря уж о другом. Кое-что я пыталась объяснить твоему братцу, но его мысли вихляют, словно струя мочи у пьяницы.

Она продолжала испускать зловещие вопли и пророчества. Уговаривать Саймона не было нужды: в этой дискуссии он принял ее сторону. Только из-за Мамы он не поддерживал Бабулю открыто, но когда мы остались в спальне вдвоем, он, растянувшись на простынях – попарно сшитых мешков

из-под руки, – с высокомерным видом внимал моим обвинениям и аргументам, а поняв, что я готов выслушать и его, сказал:

– Ну, хватит заливать! Пошевели лучше мозгами, пока они еще у тебя есть. Старушенция права, и ты сам это знаешь. Не думай, будто только ты любишь Джорджа, но с ним надо что-то делать. Разве можно предвидеть, что он выкинет? Он больше не малыш, а приглядывать за ним всю жизнь мы не сможем.

Саймон злился на меня после того, как я потерял работу на вокзале, а до этого попал в переделку с Уиглером и Булбой и под конец опозорился у Дивера. Клем и Джимми ему тоже не нравились, а самую большую ошибку я совершил, рассказав брату о своих чувствах к Хильде, выставив тем самым себя на посмешище.

– А ведь Фридль Коблин будет красивее, когда вырастет. Во всяком случае, с грудками у нее все в порядке, – отреагировал он.

Саймон, конечно, знал, что я не злопамятный – легко взрываюсь и быстро отхожу. Он считал, что имеет право вот так со мной говорить: ведь он преуспевал, а я валял дурака, и намеревался, когда придет время, тащить меня за собой, как Наполеон своих братьев. Он не будет вмешиваться в наши разборки со старой дамой, останется холодным и отстраненным, но, по его словам, в случае настоящей беды я всегда смогу рассчитывать на его помощь, если ее заслужу.

Ему неприятно, что мои пустоголовые друзья тянут меня в пропасть. Да, он осознает свои обязательства предо мной и Джорджем. Я не могу обвинить его в лицемерии.

– Мне было больно до слез, когда Мама говорила, а ты молчал, – сказал я. – Ты прекрасно знаешь: я мало что могу сделать для малыша, если не брошу школу. Но Мама хочет держать его при себе, и не надо ей мешать. Не стоило тебе отмалчиваться, предоставив ей роль праведницы.

– На Ма все обрушилось сразу, как при выплате кредита. – Саймон лежал на темном железном остова кровати, мускулистый и светловолосый. Говорил он громко и решительно. Потом замолк и неторопливо потрогал языком сломанный зуб. Похоже, он ожидал от меня большего пыла, и, видя, что я исчерпал запас обвинений, произнес то, о чем я давно знал и без него: – Ты уже не владеешь ситуацией из-за своей жуткой сентиментальности, Оги. В любом случае малыша больше года держать в доме нельзя. Даже если ты не будешь вылезать отсюда, чего никогда не случится.

– Старуха думает, будто теперь она здесь хозяйка.

– Пусть себе думает, – фыркнул Саймон, энергично вскинул подбородок, что делал в самые ответственные моменты, и, ногой повернув выключатель, стал читать.

После случившегося я мало влиял на ситуацию, но Бабулю не считал больше главой семьи – бразды правления частично перешли к Саймону. Теперь я предпочитал находиться в комнате с ним, а не идти к Маме, которая, помыв посу-

ду и убрав со стола, полулежала в своем кресле. Лампочка с заостренной колбой испускала яркий предательский свет, и тень от ее головы падала на неровно покрашенную – с пузырями и выпуклостями – стену, страдая, она не выставляла горе напоказ, а старалась с ним справиться. Ни суеты, ни шума, никто даже не видел ее слез; когда ей становилось совсем плохо, она подходила к кухонному окну и глядела в него; только приблизившись, можно было заметить налитые влагой зеленые глаза, порозовевшее лицо, приоткрытый, с редкими зубами рот. В кресле она никогда не сидела прямо – склоняла голову к подлокотнику. Во время болезни все было то же самое: она ложилась в постель прямо в платье, заплетала волосы в косички, чтобы не путались, и ни с кем не общалась, пока не чувствовала, что может снова стоять на ногах. Не имело смысла приносить ей термометр, она его не брала; просто лежала обессиленная и ни о чем не думала, да она и не умела думать. У нее имелся свой оригинальный взгляд на то, отчего человек гибнет или выздоравливает.

С Джорджем было уже все решено, и она, никого не коря, выполняла обычную работу, в то время как Бабушка Лош торопилась поскорее завершить свой план. Старая дама сама отправилась в аптеку, чтобы позвонить Лубину, социальному работнику. Знаменательный факт, если учесть, что, подвернув ногу в холодный День перемирия, Бабуля старалась не выходить на улицу, пока лежал снег.

– Старики часто под конец жизни мучаются от переломов

– кости не срastaются, – говорила она.

Кроме того, даже в своем квартале она не ходила в повседневной одежде, считая это неприличным. Ей требовалось заменить простые чулки, в которых ее ноги выглядели словно клюшки для гольфа, обмотанные эластичной тканью, шелковыми, надеть черное платье, трехъярусную шапочку и напудрить знавшее лучшие времена лицо. Не думая, насколько неприятно нам ее поведение, она приколола булавками к шляпке развевающиеся перья и, церемонно поднявшись, вышла, охваченная внезапной вспышкой старческого гнева, но при спуске с лестницы ей, однако, пришлось становиться обеими ногами на каждую ступеньку.

В этот день проходили выборы и над участками для голосования висели скрещенные флаги; надутые от важности члены партии помахивали муляжами избирательных шаров, испуская изо рта пар. Спустя полчаса, вынося золу из печки, я увидел, как Бабуля стоит на одном колене в снегу. Она упала. На нее было больно смотреть. Раньше она никогда не выходила на улицу без сопровождения. Я бросил ведро и понесся к ней, и она вцепилась мокрыми от снега перчатками в рукав моей рубашки. Однако, встав на ноги, отказалась от моей поддержки – то ли из-за чрезмерно преувеличенного представления о жертве, то ли из-за суеверной мысли о постигшей ее каре. Она сама поднялась по лестнице и, хромя, направилась в свою комнату, где улеглась, предварительно заперев дверь. До того времени я даже не знал, где лежит

ключ, – должно быть, она с самого начала хранила его среди своих драгоценностей и семейных документов. Мы с Мамой, удивленные, стояли за дверью и спрашивали, все ли с ней в порядке, пока не услышали гневный приказ убираться прочь и оставить ее в покое. Я, еще не оправившийся от зрелища залепленного снегом старушечьего лица, затрясся от этого истошного кошачьего визга. К тому же нарушился сложившийся порядок: оказывается, у двери, никогда прежде не запиравшейся, как врата церкви, всегда открытой, имелся ключ, которым можно было воспользоваться! Это падение в день выборов было особенным: ведь обычно ко всем ее кухонным порезам и ожогам относились очень серьезно, сразу же начинали лечить, глубоко сочувствовали и постоянно навещали. После того как больное место смазывали йодом или мазью и забинтовывали, Бабуля закуривала сигарету, чтобы успокоиться. Но сигареты она держала в корзине с рукоде-лием на кухне и на этот раз из комнаты не выходила.

Прошло время ланча, но Бабуля еще долго не появлялась. Наконец, с толстой повязкой на ноге, она пришла старым домашним маршрутом – по протертому до дыр ковру попугайной окраски, мимо печи в гостиной – в небольшой коридор, заканчивающийся кухней, – тут по линолеуму проходил коричневый след, протоптанный во многом и ее тапочками цвета наждачной бумаги; этот путь она совершала регулярно в течение лет десяти. На ней снова была повседневная одежда и шаль, так что, казалось бы, все пришло в норму, но

это затишье объяснялось нервным срывом: она изо всех сил старалась выглядеть спокойной и уравновешенной, однако ее выдавала страшная бледность, словно она потеряла много крови или утратила свое извечное хладнокровие при ее виде. Если уж она заперлась, значит, действительно лишилась самообладания и ужасно испугалась, но все же приняла решение выйти и, несмотря на мертвенную бледность, вернуть свое влияние. И все-таки чего-то недоставало. Даже усталая, страдающая одышкой старая сука, чья белоснежная шерсть порыжела у глаз, медленно ходила, постукивая коготками, словно чувствовала, что наступают новые времена, которые вытеснят остатки прежней власти, – советники и министры увидят закат своей славы, а швейцарская и преторианская гвардия не будет знать отдыха.

Последний месяц я все время проводил с Джорджи – катал его на санках, гулял, посетил с ним оранжерею в Гарфилд-парке, чтобы он увидел, как цветет лимон. Административное колесо закрутилось, наше запоздалое сопротивление ни к чему не привело. Лубин, всегда говоривший, что Джорджи будет лучше в специальном заведении, принес нужные бумаги, и Мама, лишившаяся поддержки Саймона (а может, даже и его поддержка не помогла бы, поскольку Бабуля была настроена решительно, ею словно управлял рок), была вынуждена их подписать. Бабушке Лош никто не мог противостоять, я убежден. Во всяком случае, не теперь и не в нашем деле. Все взвесив, казалось разумным поместить ма-

лыша в заведение. Как говорил Саймон, позже нам придется заняться этим самим. Но старая дама внесла в свои действия то, без чего можно было обойтись: испытание на прочность, бестактность, деспотизм. Это проявлялось в непонятных нам вещах – разочаровании, раздражении от необходимости все решать самой, гордыне, страшной физической слабости, не способствующей здравости ее суждений; возможно, резком проявлении ослиного упрямства или ощущении лопнувшего мыльного пузыря от социальной инициативы.

Откуда мне знать? Но расставание с Джорджи могло быть совсем другим.

Наконец пришло известие, что для него есть место. Мне пришлось купить в армейском магазине желто-коричневый чемодан – лучший из всех. Он ему на всю жизнь, и потому я особенно старался. Научил его пользоваться пряжками и ключиком. В заведении всегда найдется помощник, но мне хотелось, чтобы Джорджи в какой-то степени сам был хозяином своего добра, переезжая с места на место. Ему также купили в галантерее шляпу.

Весна запоздала, солнца почти не было, но снег таял и с деревьев и крыш непрерывно капало. В мужской шляпе и нескладном пальто – братишка не испытывал потребности расправить его на плечах – он выглядел взрослым, отправлявшимся в дальнее путешествие человеком. И еще очень красивым, хотя красота этого бледного слабоумного путешественника была какой-то выхолощенной. Глядя на него,

сердце разрывалось и хотелось плакать. Но никто не плакал – из нас двоих, я имею в виду, ибо провожали его только Мама и я. Саймон, уходя утром на работу, поцеловал его в голову и сказал:

– Пока, старина, я тебя навещу.

Что до Бабушки Лош, то она не вышла из своей комнаты.

– Пойди и скажи Бабуле, что мы уезжаем.

– Это я, Оги. Все готово, – произнес я, подойдя к ее двери.

– Готово? Ну тогда поезжайте, – ответила она решительно и нетерпеливо, но в ее голосе отсутствовали живость и то, что можно назвать командной интонацией. Дверь была заперта; думаю, Бабуля покоилась на перине в фартуке, шали и остроносых тапочках, а на туалетном столике, буфете, на стенах лежали и висели безделушки из прошлой, одесской жизни.

– Мама хочет, чтобы вы с ним простились.

– Зачем это? Я потом приду к нему.

У нее не хватило духу выйти, увидеть результат своей бурной деятельности и после этого по-прежнему держать власть в своих руках. Свидетельство слабости и сдачи позиций. А как еще мог я расценить этот отказ?

Мама, наконец преодолев страх, проявила гнев, который редко испытывают слабые люди. Похоже, она верила, что Джорджи должен получить напутствие от старушенции, но через несколько минут одна вышла из ее комнаты и резко проговорила:

– Бери вещи, Оги.

Но эта резкость предназначалась не мне.

Ухватив Джорджи за руку, я вышел с ним из гостиной во двор, где под папоротником дремала Винни. Джорджи вяло мусолил в уголке рта жевательную резинку. Наша поездка на троллейбусах с тремя пересадками затянулась, последний отрезок пути на Вест-Сайд закончился неподалеку от магазина мистера Новинсона.

Вся дорога до заведения заняла около часа. Решетки на окнах, забор, защищающий от собак, заасфальтированный двор – унылое местечко. В крошечном офисе на первом этаже угрюмая дама взяла наши бумаги и вписала Джорджи в бухгалтерскую книгу. Нам разрешили подняться с ним в спальню, где другие мальчики стояли кружком под радиатором, установленным высоко на стене; когда мы вошли, они уставились на нас. Мама сняла с Джорджа и пальто и мужскую шляпу, он остался в рубашке с большими пуговицами, белобрысый, с длинными белокожими, еще не согревшимися пальцами – вид этих больших, на вид совсем мужских рук пугал; он стоял рядом со мной у кровати, а я еще раз показал ему, как работает простенький замок на чемодане. Но мне не удалось смягчить ужас, который наводило на Джорджи это место и похожие на него мальчики, – таких он раньше не видел. К тому времени он уже понял, что останется здесь, и душа его не выдержала, он застонал, и это было для нас хуже слез, хотя прозвучало еле слышно – не то что рыдания. Ма-

ма полностью расклеилась и сползла на пол. Именно тогда она, взяв в руки его коротко подстриженную, ни на чью не похожую голову и покрывая ее поцелуями, разрыдалась. Я пытался ее оттащить, но Джорджи не пускал. Заплакал и я. Потом отвел его назад, к кровати, и сказал:

– Сиди здесь!

Он сидел и стонал. Мы пошли на остановку и ждали там у черного гудящего столба, когда с окраин придет троллейбус.

С тех пор наша домашняя жизнь как-то ужалась, словно в основе семьи лежала забота о Джорджи и теперь все пришло в упадок. Каждый был поглощен своим – старуха пережитрила саму себя. Мы ее тоже разочаровали. Кто знает – может, она размечталась, будто кто-то из нас настолько одарен, что с ее помощью прославится. Возможно. Но сила, создающая высших существ, сводящая любовников, чтобы они подарили миру гения, который заставит человечество приблизиться к совершенству или подаст знак, способный подвигнуть многих на сей путь, принесла в нашу семью всего лишь Джорджи и нас. Мы были далеки от идеала, о котором мечтала Бабуля. И дело не в родословной, не в высоком и законном рождении. Фуше достиг того же, что и Талейран. В расчет принималось природное дарование, и тут она с горечью убедилась, что талантами мы не блещем. Тем не менее нас можно было воспитать приличными людьми, джентльменами, приучить носить белые воротнички, следить за ног-

тями, чистить зубы, достойно вести себя за столом, привить нам хорошие манеры, и это пригодились бы везде, где бы мы ни работали – в конторе, магазине, кассиром в банке, на что мы особенно надеялись; следовало быть вежливым в лифте, уметь задавать вопросы, проявлять учтивость в общении с дамами и осмотрительность в суждениях, не вступать в беседу с незнакомцами на улице и следовать путем седого унылого Кастильоне<sup>46</sup>.

Вместо этого мы росли обычными ребятами, грубоватыми, громкоголосыми, неуклюжими. По утрам, одеваясь, мы в одном нижнем белье шутливо дрались на кулаках и боролись, хлопая дверьми, падая на пол, сбивая стулья. Проходя в холл, чтобы умыться, мы часто видели старушечью фигурку и ее полные презрения глаза; отвратительно зевая, она обнажала узкую полоску десен; щеки дрожали от сдерживаемой критики. У нее отняли власть. С ней покончили. Саймон иногда говорил: «Что ты понимаешь, Ба?» – или даже называл ее «миссис Лош». Я же никогда не пытался ее подковырнуть или показать, что у нее уже нет прежнего влияния. Со временем и Саймон стал проявлять к ней больше уважения. Но это уже не имело значения. Теперь она знала, кто мы и на что способны.

Дом тоже стал для нас другим – меньше, темнее; вещи,

---

<sup>46</sup> *Бальдассаре Кастильоне* (1478–1529) – итальянский гуманист, политический деятель, писатель. Автор «Книги о царедворце», где дается описание совершенного придворного.

казавшиеся прежде красивыми и вызывавшие восхищение, вдруг потеряли всякое значение и привлекательность. На месте отбитой эмали оказалось железо, обозначились трещины, темные пятна; в центре ковра поблек рисунок, он выглядел потертым и обветшалым; ушли великолепия, блеск, основательность, яркость. Идущий от Винни в ее последние дни запах застоявшегося клея, по-видимому, не замечали живущие в доме женщины, но мы-то, приходя с улицы, ощущали его все время.

Винни умерла в мае того же года; я положил ее в коробку из-под обуви и закопал во дворе.

## Глава 5

Уильям Эйнхорн – первый значительный человек в моей жизни. У него был интеллект и множество промышленных предприятий, подлинная власть и философский склад ума, и если бы я отличался методичностью и, прежде чем предпринять важное действие, думал, и еще (*NB*)<sup>47</sup> – если бы я был его настоящим последователем, а не тем, кем являюсь на самом деле, то спросил бы себя: «Что в этом случае сделал бы Цезарь? Что посоветовал бы Макиавелли? Как поступил бы Одиссей? Что подумал бы Эйнхорн?» И я не шучу, включая Эйнхорна в этот представительный список. Я знал его и видел то, что их объединяло. Если вы, конечно, не считаете, будто мы находимся в жалком конце всех времен, и сами как дети, и наше участие в духовном богатстве человечества сродни роли мальчика в жизни сказочных королей, живших в эпохи лучше и здоровее нашей. Но если мы сравниваем мужчин с мужчинами, а не мужчин с детьми или полубогами, то что понравилось бы Цезарю в нас, поголовно демократах? И если у нас нет особого желания представить себя другими, низшими существами перед божественными ликами прошлых веков из-за стыда за свои недостатки, тогда у меня есть право хвалить Эйнхорна и не обращать внимания

---

<sup>47</sup> Франклин Делано Рузвельт в одной из своих речей произвел глубокое впечатление на нацию, сказав «NB», что означает «Nota bene».

на снисходительные улыбки считающих, будто современные люди не обладают в достаточной мере теми свойствами, которые восхищают нас в этих легендарных личностях. Не хочу преувеличивать, но и не желаю выглядеть студентом из тех, которые во все времена чувствуют себя сосунками, встречаясь с прошлым.

Я стал работать у Эйнхорна, когда учился в предпоследнем классе – незадолго до кризиса, во время нахождения у власти правительства Гувера, – Эйнхорн был еще богат, хотя, думаю, не настолько, как он утверждал позже, и оставался с ним после того, как он потерял большую часть состояния. Я действительно стал необходим ему – не метафорической правой рукой, а фактическими конечностями. Эйнхорн был калекой с полностью недвижными ногами; руки еще действовали, но были настолько слабы, что он не мог управлять инвалидным креслом. Его приходилось возить по дому жене, брату, родственникам, подчиненным или друзьям. Работали эти люди на него или просто находились в доме или офисе, он всегда умудрялся пристроить их к делу – тут у него был просто талант, тем более что вокруг всегда крутились желающие разбогатеть с его помощью или уже разбогатевшие. Эйнхорны были крупнейшими в районе посредниками по продаже недвижимости, в их владении находилось изрядное количество собственности, в том числе и большой сорокаквартирный дом, где они жили. В угловом помещении открыли бильярдную – она так и называлась: «Бильярдная Эйнхор-

на». Было еще шесть торговых точек – хозяйственный магазин, «Овощи-фрукты», «Консервы», ресторан, парикмахерская и бюро похоронных принадлежностей, которым владел Кинсмен – тот, чей сын сбежал вместе с моим двоюродным братом Говардом Коблином, чтобы поступить в морскую пехоту и сражаться против Сандино. Именно в здешнем ресторане республиканский активист Тамбоу играл в карты. Эйнхорны, родственники его бывшей жены, при разводе не поддержали ни одну из сторон. Старшему Эйнхорну (председателю) не пристала роль блюстителя нравов: у него самого было четыре жены, две из которых по сей день получали алименты. Он не обзавелся офисом, к нему приходили просто развлечься. Председатель оставался франтом, носил белый кружевной воротник под Буффало Билла<sup>48</sup>, щеголял – по-прежнему дородный и здоровый – в белых костюмах и смотрел озорными глазами ловеласа. Его уважали за дальновидность и практичность, и стоило ему открыть породистый старческий рот и в своей лаконичной манере, чеканя слова, произнести нечто о закладной на движимое имущество или о сдаче в аренду участков земли, как все толпившиеся в офисе солидные бизнесмены тут же замолкали. От него всегда можно было получить дельный совет; Коблин и Пятижильный доверили ему инвестировать часть своих денег. Одно время работавший на него Крейндл считал, что

---

<sup>48</sup> *Буффало Билл* – прозвище Уильяма Фредерика Коуди, знаменитого охотника на бизонов; в 1883 г. организовал первое шоу «Дикого Запада».

старик мудр, как Бог.

– Сын умен, но до отца ему далеко, – говорил он.

Я с этим не соглашался, хотя, будучи в ударе, старик затмевал всех. Одной из моих летних обязанностей было ходить с ним на пляж: он плавал ежедневно вплоть до середины сентября. Я должен был следить, чтобы он не заплывал далеко, а также вручать ему зажженную сигарету, пока он плавал вдоль пирса, лежа на матрасе в полосатом купальнике, подчеркивающим огромный живот, внушительные половые органы и острые желтые колени; седые с желтоватым оттенком, как шкура белого медведя, волосы полоскались в воде; энергичное загорелое лицо обращено к солнцу, крупные губы шевелятся, произнося слова, а нос с наслаждением выпускает дым в теплой голубой неге Мичигана; тем временем просмоленные траулеры пыхтят и выпускают пар в стороне от воды, оставленной для воплей, плеска, барахтанья пестрой толпы купальщиков; дальше под прямым углом к причудливому изгибу берега шли гидротехнические сооружения, вышки и небоскребы.

Эйнхорн был сыном старика от первого брака. От второго или третьего у него родился еще один сын, по имени Шеп, или Дингбат, как звали его друзья по бильярдной. Дингбат – от Джона О’Берта<sup>49</sup>, по прозвищу Дингбат, поставщика наркотиков городским политикам и друга Полака Сэма Зинко-

---

<sup>49</sup> *Джон О’Берта* – один из действовавших в Чикаго 20–30-х гг. прошлого века гангстеров. Итальянец по происхождению, получил прозвище Дингбат.

вича. Поскольку Шеп не знал и внешне не напоминал О'Берта и с политиками никак не был связан, трудно сказать, почему его так называли. Но, не будучи бандитом, он вырос на рассказах о криминальных событиях, слыл знатоком гангстерской «кухни» и подчас вел себя и одевался совсем как мафиози, так что можно было подумать, будто он общается с опасными Друччи или Хубачеком по прозвищу Большой Хейз<sup>50</sup>: модная дорогая шляпа, костюм по фигуре, рубашка в андалусском стиле – ее застегивают до воротничка и носят без галстука, особые туфли, заостренные, с двойной подошвой, до блеска начищенные, как у танцора танго; он тяжело ступал на кожаных каблуках. Черные блестящие ухоженные волосы Дингбат укладывал волной. Небольшого роста, худощавый, почти хрупкий, очень подвижный, с каким-то отчаянным выражением лица. Нельзя сказать, чтобы оно было брутальным – на нем отражались самые разные чувства, но все дикие, враждебные, неизменно упрямые и дерзкие; черная щетина проступала сквозь неряшливо нанесенный после бритья тальк: настоящий палач, хотя в данном случае прототип не был душегубом (он мог подраться на кулаках и вид имел при этом устрашающий, но намерение убить у него отсутствовало), а просто очень упрямым и трудным человеком. Если уж мы заговорили об этом, Дингбата самого постоянно колотили – у него остался незаживающий шрам, после

---

<sup>50</sup> Семья Друччи и Чарлз Хубачек (Большой Хейз) сотрудничали с мафиозной группой О'Бэнниона. Хубачек в 1927 г. был убит по приказу Аль Капоне.

того как он на ринге прикусил щеку. И все же он продолжал драться, при первом же вызове покидая бильярдную, и, кружась в своих туфлях танцора танго, наносил яростные, но невесомые удары. Побои его не останавливали. В одно из воскресений я сам видел, как Дингбат втянул в драку Пятижильного: набросился на великана, молотя того кулачками, но не смог даже сдвинуть с места; в конце концов Пятижильный сгреб его в охапку и швырнул на пол. Когда Дингбат возобновил драку, Пятижильный хоть и улыбался, но был испуган и уклонился от бильярдного кия. Кто-то из толпы заорал, что Пятижильный трус, и он решил – лучше удерживать Дингбата за плечи, пока тот, охваченный слепой яростью, продолжал бороться. Его дружок счел позором, что ветерана Шато-Тьерри<sup>51</sup> запугал новичок. Пятижильный принял эти слова близко к сердцу и в дальнейшем старался держаться подальше от бильярдной.

Некоторое время Дингбат заведовал бильярдной, но отец, посчитав его ненадежным руководителем, поставил нового управляющего. Дингбат по-прежнему здесь крутился, но теперь в качестве сына хозяина – собирал шары, заменял на столе зеленое сукно новым, когда прежнее рвалось, – а еще незаменимого сотрудника, вышибалы, рефери, спорщика, спортивного эксперта, историка гангстерских войн. Он всегда держал ухо востро в надежде подработать и в игре

---

<sup>51</sup> В этом французском городе на Марне была крупная битва во время Первой мировой войны.

сериями брал по десять центов за мяч. Время от времени он работал шофером отца. Тот не мог водить сам огромный красный «стац-блэкхок» – семейство Эйнхорн не признавало маленьких автомобилей, – и Дингбат отвозил его на пляж, когда было слишком жарко, чтобы идти пешком. В конце концов, старику шел семьдесят пятый год и у него мог случиться инсульт. Я сидел рядом с ним на заднем сиденье, перед нами Дингбат со следами побоев на шее – руки на руле, рядом укулеле<sup>52</sup> и купальный костюм; когда он вел машину, то был особенно сексуален – кричал, свистел, сигналил, что очень развлекало отца. Иногда к нам присоединялся Клем, или Джимми, или Сильвестр, разорившийся кинематографист, вылетевший за неуспеваемость из технологического института и собирающийся перебраться в Нью-Йорк. На пляже Дингбат, перепоясанный поясом, с браслетами на запястьях, в бандане, чтобы песок не попадал в волосы, когда стоишь на голове, намазанный маслом для загара, смотрелся атлетом; в окружении девушек и пляжных суперменов он танцевал, играя на укулеле:

«Ани-ка, хула<sup>53</sup> вики-вики», –  
Красавица мулатка сказала мне  
И на пляже Уайкики,  
Научила хуле при луне...

---

<sup>52</sup> *Укулеле* – гавайская гитара, четырехструнный щипковый музыкальный инструмент.

<sup>53</sup> *Хула* – национальный гавайский танец.

Чувственное пение вызывало непристойные ассоциации, он пел с негритянской хрипотцой, его петушиный пыл был ярким, странным и беспокойным. Он очень развеселил своего пожилого предка, грубоватого и смешливого, который, подобно Буффало Биллу, утопал в пляжном шезлонге с обмотанным вокруг головы полотенцем, дабы уберечься от ярких солнечных лучей; с этой же целью он поднял, прикрывая глаза, дряблую полную руку и продолжал хохотать, широко раскрыв рот.

– И-диот! – наконец выговорил он.

Если бы не жара, Уильям Эйнхорн, возможно, тоже поехал бы с нами: инвалидное кресло погрузили бы в багажник «стаца», а его жена захватила бы зонт на двоих. Брат или я выносили его из офиса на закорках, сажали в машину, а затем на берегу озера устраивали поудобнее; все изысканно, торжественно, чисто, великолепно и благородно, словно приехал маркграф. Исполнялись все его желания. Крупный мужчина высокого роста, хорошего сложения, привлекательный, он был душевно тоньше отца, и Дингбат не производил на него подобного впечатления. Эйнхорн был очень бледный, слегка обрюзгший, с четко обозначенной на носу горбинкой и тонкими губами; начинающие сесть густые волосы доходили до ушей; пристальный, настороженный взгляд постоянно устремлен вперед, чтобы не упустить из виду нужные вещи. Полная красивая жена сидела рядом под зонтиком

– томная, с легкой улыбкой на лице, загорелая рука непринужденно лежит на коленях, косо стриженная пышная шевелюра уложена как на египетских рисунках и заканчивается внизу прямой линией. Ей нравятся летний бриз, лодчонки, покачивающиеся на волнах, царящее на пляже оживление и песни.

Если вам интересны ее мысли, то думает она, что задняя дверь в дом закрыта. Там в кладовой, на полке, где стоит газовая плитка, два фунта хот-догов, два фунта холодного картофеля для салата, горчица, уже нарезанный ржаной хлеб. Если не хватит, она пошлет меня за чем-нибудь еще. Миссис Эйнхорн любит все готовить заранее. Старик захочет чаю. Нужно, чтобы он остался доволен, и она старается ему угодить, только бы он не плевал на пол; сама она постесняется об этом попросить – слишком робкая, но мужу скажет: для него поговорить с отцом – пустячное дело. Остальные будут пить кока-колу – любимый напиток Эйнхорна. Одной из моих дневных обязанностей было таскать ему колу: в бутылках из бильярдной или в стаканах из аптеки – в зависимости от того, где она, по его предположению, в тот день лучше.

Мой брат Саймон, увидев, как я несу стакан на подносе, лавируя между людьми на тротуаре – перед офисом Эйнхорна всегда толпился народ, смешиваясь с завсегдатаями бильярдной и родственниками усопших, пришедших к Кинсмену, – удивился и, громко расхохотавшись, сказал:

– Так вот кем ты работаешь! Лакеем!

Но эта услуга была одной из многих, некоторые являлись еще более лакейскими, более личными, другие требовали ума и навыка – секретаря, помощника, агента, компаньона. Эйнхорну постоянно требовался кто-то под рукой – положение, при котором всегда нужен помощник, сделало из него деспота. В Версале или Париже «королю-солнцу» при утреннем туалете один дворянин подавал чулки, другой – рубашку. Эйнхорна надо было вытаскивать из постели и одевать. Иногда это приходилось делать мне. В комнате было темно и душно: Эйнхорн с женой спали с закрытыми окнами и ночные испарения шли от двух тел. Я не критикую – быстро привык к запаху. Эйнхорн почивал в нижнем белье: они с женой ложились поздно, а надевать пижаму ему было не под силу. Итак, включался свет: Эйнхорн в «Би-Ви-Ди»<sup>54</sup>, костлявые веснушчатые руки, седеющие волосы откинута назад, открывая лицо с обычным выражением скуки, острый с горбинкой нос и подстриженные усы. Если он пребывал в плохом расположении духа, что иногда случалось, надлежало молчать, пока настроение его не улучшится. Но это противоречило правилам дома. Он предпочитал по утрам демонстрировать веселость. Любил пошутить, подразнить, часто шутки его были «с бородой» или весьма непристойны; поднимал на смех жену, которая не могла спокойно и бесшумно приготовить завтрак. Мой опыт с Джорджи очень пригодился, когда я одевал Эйнхорна, хотя здесь был совсем дру-

---

<sup>54</sup> «Би-Ви-Ди» – товарный знак мужского нижнего белья.

гой уровень – носки из дорогого шелка, брюки в полоску, несколько пар отличных туфель, которые никогда не заминались в подъеме, ремень с готической монограммой. Одев до пояса, его переносили в черное кожаное кресло и катили на разболтанных колесах в ванную комнату. Порой, когда его усаживали в кресло, он морщился, иногда терпел, еле скрывая недовольство, но в большинстве случаев переносил это действие мужественно. Устроив его как можно лучше, я, пытаясь, вез кресло в ванную – солнечную комнату, окно которой выходило во двор и, следовательно, смотрело на восток. Эйнхорн, как и отец, был довольно небрежен в быту, и это место трудно было содержать в чистоте. Но для людей высокопоставленных всегда и везде делаются исключения. Кажется, английские аристократы до сих пор имеют привилегию при желании мочиться на задние колеса своих экипажей.

Миссис Эйнхорн ничего не могла поделать: пол там всегда был залит. Время от времени, когда разнорабочий Бавацки надолго застревал в польском районе или валялся пьяный в погребе, она просила меня убрать в ванной. По словам миссис Эйнхорн, ей претило обращаться ко мне: ведь я же студент. Однако мне платили деньги. И именно за разную, точно не определенную работу. Я принял такое условие: мне нравилось разнообразие. Как и мой друг Клем Тамбоу, я не терпел дисциплину и порядок, но в отличие от него, если работа или какое-то дело меня увлекали, отдавался им полностью. Естественно, когда Эйнхорн это пронюхал – довольно

быстро, кстати, – он стал приглашать меня регулярно: я его устраивал, потому что он был завален разного рода работой. Увидев меня без дела, он изобретал что-нибудь новое. Так что убирать туалет приходилось нечасто: для меня находились более важные задачи. А когда и приходилось, уроки Бабушки Лош превращали уборку в немудреное занятие.

Но вернемся к утреннему туалету Эйнхорна: я должен был стоять рядом и читать сообщения с первой страницы «Ик-зэминер», а также финансовые известия, котировки с Уолл-стрит и Ласалль-стрит<sup>55</sup>. Затем городские новости, что-нибудь о Большом Билле Томпсоне<sup>56</sup> – скажем, он снял «Корт-тиэтр», появился на сцене с двумя клетками, в которых сидело по огромной крысе со скотного двора, которых он назвал именами республиканцев-изменников; я знал, что это интересно Эйнхорну в первую очередь.

– Да, все так, как сказал Томпсон. Он большой болтун, но тут не соврал. Он примчался из Гонолулу, чтобы спасти этого – как его? – от тюрьмы.

У Эйнхорна была хорошая память, просто отличная, он внимательно прочитывал новости и самое интересное отправлял в папку с вырезками; он любил все систематизировать, и в мою обязанность входило следить, чтобы пап-

---

<sup>55</sup> *Ласалль-стрит* – улица в центре Чикаго, известная как «чикагская Уолл-стрит»; там расположены банки и Чикагская фондовая биржа.

<sup>56</sup> *Большой Билл Томпсон* (1869–1944) три срока подряд был мэром Чикаго от республиканцев; пользовался поддержкой мафии.

ки всегда были в порядке и лежали в длинных стальных или деревянных ящиках поблизости от него; по непонятным причинам он вдруг раздражался, когда я клал что-то перед ним, и просил это немедленно выбросить. Все материалы, газетные вырезки должны были постоянно находиться в пределах досягаемости, под рукой, в папках с наклейками: «Коммерция», «Изобретения», «Крупные местные сделки», «Преступления и банды», «Демократы», «Республиканцы», «Археология», «Литература», «Лига Наций». Спросите меня: зачем ему Лига Наций? Но он разделял идею Бэкона, что человека формируют разные вещи, и имел слабость к полной информации. Все нужно делать как надо, на его столе и на полках должен царить абсолютный порядок, всему следует стоять на своих местах – Шекспиру, Библии, Плутарху, словарям и справочникам, «Торговому праву для интересующихся», руководствам по торговле недвижимостью и страхованию, альманахам и указателям; пишущей машинке в черном чехле, диктофону, телефонам на специальных полочках и маленькой отвертке, с помощью которой убирался механизм, регистрирующий падение пяти центов (даже в период наибольшего процветания Эйнхорн не собирался платить за каждый сделанный звонок; компания присваивала себе из монетоприемников деньги, заплаченные другими бизнесменами, приходившими в офис), скрепленным проволокой лоткам с наклейками «Приход», «Расход», литым весам «Этна», печати нотариуса на цепочке, степлерам, увлаж-

ненным губкам, ключам от сейфов, конфиденциальным документам, записям, презервативам, личной переписке, стихам и эссе. Когда все аккуратно лежало на нужных местах, он мог приступить к работе за полированной разделительной перегородкой, граничившей с дверями офиса, и тогда чувствовал себя одним из властелинов мира – белолицый руководитель, знающий себе цену, но также и свою нелепую, эксцентричную практичность, наносившую ущерб его достоинству и гордому, чеканному, красивому облику.

Он всегда мог посоветоваться со своим отцом, чьи бизнес-планы были, возможно, менее впечатляющими, но зато более внушительными, учитывая его связи со старыми деловыми партнерами. Старик сделал Эйнхорну состояние и по-прежнему занимал ключевые посты в компании – не потому, что не доверял сыну, просто для мира бизнеса именно он являлся тем самым Эйнхорном, которому делались первые деловые предложения. Уильям был наследником, а также доверенным лицом, распорядившимся акциями сына Артура, студента второго курса университета Иллинойса, и Дингбата. Эйнхорна раздражала привычка отца для личных целей заимствовать суммы – иногда немалые – из денег, которые он носил в кармане своего марк-твеневского костюма<sup>57</sup>. Но чаще он хвастался отцом как первым застройщиком северного района города, увлеченным династической идеей Эйнхорнов: за победителем следует организатор, за ор-

---

<sup>57</sup> Марк Твен предпочитал носить костюмы белого цвета.

ганизатором – поэт и философ; типично американское развитие, работа интеллекта и силы на просторе, в мире больших возможностей. На самом деле, нисколько не умаляя дарований старшего Эйнхорна, сын, несмотря на молодость, обладал не только хваткой отца, но и другими качествами – искусством управления, деликатностью в ведении дел, разумом парса<sup>58</sup>, мастерством плетения интриг, презрением папы Александра VI к традиции. Однажды утром, когда я читал в газете о непристойном поведении в Каннах богатой американской наследницы и итальянского князя, он остановил меня, чтобы процитировать:

– «Дорогая Кейт, мы с тобой не можем придерживаться убогих норм поведения, принятых в обществе. Мы создаем свои нормы, Кейт, и наша свобода заткнет рты всем злопыхателям...»<sup>59</sup> Это из «Генриха V». Имеется в виду, что для большинства людей существуют одни правила, а для других, чье предназначение выше, иные. Большинство рассчитывает, что со временем также сможет добиться определенных поблажек, и это примиряет его с мыслью, что пока нельзя наслаждаться привилегиями избранных. Кроме того, есть закон, но есть и природа. Есть общественное мнение, но есть и природа. Кто-то должен пойти наперекор закону и обще-

---

<sup>58</sup> *Парсы* – последователи зороастризма в современной Индии.

<sup>59</sup> *Генрих V* (1387–1422) – английский король из династии Ланкастеров. Во время Столетней войны захватил север Франции с Парижем. Эйнхорн приводит цитату из драмы У. Шекспира «Генрих V».

ственному мнению по велению природы. Это будет даже во благо общества – традиции не поглотят нас всех.

В Эйнхорне было нечто от ментора, как и в Бабушке Лош; оба верили, что знают, как жить в нашем мире – где тот уступит, а где будет сопротивляться, где можно чувствовать себя уверенно и рваться вперед, а где надо идти на ощупь, набивая шишки.

Он был благоразумен и, когда силы его иссякали, прерывал работу, как бы хорошо она ни шла. Свои беспомощные руки он поднимал на стол с помощью ловкого приема, состоящего из нескольких стадий: тасил рукав правой руки пальцами левой, а потом помогал так же другой руке. Делал он это методично, без всякой показухи, не рассчитывая на жалость. И это впечатляло. Здоровый сильный человек может подняться на кафедру и там покаяться перед Богом в собственной слабости, Эйнхорн же, несмотря на очевидную поначалу слабость, предпочитал говорить о силе и сам излучал ее. Было удивительно такое слышать – особенно зная ежедневную рутину жизни семьи.

Но вернемся в ванную, где Эйнхорн каждое утро приводил себя в порядок. Одно время он приглашал на дом брадобрея, но, по его словам, это напоминало ему о больнице – он провел там в общей сложности два с половиной года. Кроме того, Эйнхорн предпочитал как можно больше делать самостоятельно – он и так зависел от множества людей. Теперь он пользовался безопасной бритвой, заточенной на особом рем-

не, изготовленном специально для него чешским изобретателем (он клялся, что это именно так). Бритье занимало более получаса – подбородок на краю раковины, руки медленно перемещаются по лицу. Он прикладывал к щекам махровую салфетку, через которую слышалось его дыхание. Затем намыливался, тер кожу, фыркал, брился, нащупывая пальцами оставшуюся щетину, а я в это время сидел на крышке унитаза и читал. Пар пробуждал к жизни застарелые запахи, крем, которым он пользовался, обладал острым терпким ароматом – от всего этого я начинал задыхаться. Под конец он помадил мокрые волосы и натягивал маленькую шапочку, сварганенную из обрезанного женского чулка. После этого ему, насухо вытертому и припудренному, помогали натянуть рубашку, завязать галстук – он много раз проверял, хорош ли узел, и наконец успокаивался, сохраняя некоторую нервозность только по поводу верхней пуговицы. Затем надевался пиджак – слышался сухой шелест платяной щетки. Проверяли, застегнута ли ширинка, смахивали с туфель капли воды; теперь все было в полном порядке, и мне кивком давали понять, что пора везти его на кухню завтракать.

У него было обостренное чувство голода, ел он быстро, давась пищей. Посторонний неглупый человек, не знавший, что Эйнхорн поражен параличом, догадался бы, что тот нездоров, увидев, как он сосал проколотое яйцо – по-лисьи, словно в лапах зажимая его и поглощая с необычайной жадностью. Не говоря уже о шапочке из женского чулка – трофеем

из другой области, если мне простят такое спортивное или военное сравнение. Эйнхорн понимал это сам: ведь он думал о многом, его мозг проделывал в своем роде удивительную работу со всем, что он делал, или не позволял себе не делать, или не мог не делать, или считал, что это под силу только творческой натуре, или получал удовольствие, потакая себе; гордился, что болезнь не убила в нем эту способность, а, напротив, наделила в большей мере, нежели других. То, о чем многие не говорят из-за отвращения или стыда, не было для него табу, он мог обсуждать такие вещи с человеком, которому доверял (почти наперснику), вроде меня, он спокойно относился к разным проявлениям чувств и сам их испытывал. А случаев хватало: он был очень деятельный человек.

После кофе Эйнхорн некоторое время уделял домашним делам. Из подвала вызывался помятый мрачный мускулистый Тини Бавацки, ему давали задание, требуя расстаться с бутылкой до вечера. Спотыкаясь, тот шел куда его посылали, злобно бормоча что-то себе под нос. Миссис Эйнхорн трудно было назвать хорошей хозяйкой, хотя она и выражала недовольство, что в ванной вечно грязный пол, а свекор плюет куда попало, а вот Эйнхорн был рачительный хозяин и следил, чтобы все вокруг развивалось, процветало и постоянно улучшалось – крысы уничтожались, задний двор цементировался, механизмы чистились и смазывались, веранды обшивались деревом, арендаторы проходили санитарную обработку, мусор убирался, сетки от насекомых чинились, мухи

опрыскивались спреем. Ему было ведомо, как быстро распространяются паразиты, сколько нужно купить шпаклевки для работы, какова правильная цена на гвозди, веревку для сушки белья, предохранители и прочие вещи; первые римские сенаторы тоже многое знали о сельском хозяйстве до тех пор, пока подобные интересы не стали считаться вульгарными. Затем, когда все было взято под контроль, его перевозили в офис на специально сконструированном стуле на колесиках. Я должен был вытирать на его столе пыль и приносить ко второй сигарете колу – в это время он уже разбирал почту. Писем приходило немало – он чувствовал в этом потребность – от множества корреспондентов из разных частей страны.

Когда стоит жара – говорю здесь о летних месяцах, ведь во время каникул я проводил с ним все время, – он сидит в офисе в одном жилете. Обычно ранним утром, перед началом утомительной работы, погода в Чикаго сухая и теплая (так в суровых и жестких людях, если знаешь их долго, можно увидеть ростки простодушия), чего не скажешь о летней полуденной жаре. Утром дышится легко. Председатель, не закончив одеваться, выходит в тапочках погреться на ласковом солнышке, его подтяжки болтаются, дым от сигары «Кларо» обвеивает седые волосы, рука сунулась глубоко за пояс и уютно устроилась в брюках. А Эйнхорн в глубине офиса вскрывает корреспонденцию, делает заметки, роется в картотеке, что-то передает мне для сверки – мне, помощнику,

который часто приходил в замешательство, пытаюсь понять, чего он добивается своим нескончаемым мелким мошенничеством. Ведь он почти ничем не гнушался, заказывая вещи, хотя вовсе не собирался их покупать, – печати, пробники духов с ароматом сирени, полотняные пакеты, раскрывающиеся в воде японские бумажные розы и прочие товары, рекламировавшиеся на последних страницах воскресных приложений. Он заставлял меня выписывать их под вымышленными фамилиями, а также выбрасывать письма с требованиями уплаты долга, оправдывая свои действия тем, что все эти люди заранее закладывают убытки в цены. Он заказывал все, что рассылалось бесплатно: образцы новых продуктов, мыла, лекарств, разного рода литературы, доклады Бюро американской этнологии, публикации Смитсоновского института, Музея Бишопа на Гавайях, «Конгрешнл рекорд»<sup>60</sup>, законы, памфлеты, проспекты, каталоги корпораций, книги по народной медицине, рекомендации по увеличению бюста, избавлению от прыщей, долгожительству, куизму<sup>61</sup>, флетчеризму<sup>62</sup>, йоге, спиритизму, выступления против вивисекции; он был в числе адресатов института Генри Джорджа, лондонского фонда Рудольфа Штайнера, местной коллегии адвока-

---

<sup>60</sup> Официальное издание конгресса США, содержащее стенограммы прений и документы; основано в 1873 г.

<sup>61</sup> *Куизм*, или *метод Эмиля Куэ* (1857–1926) – популярный в 1920–1930 гг. в США метод психотерапии.

<sup>62</sup> *Флетчеризм* – от имени диетолога Горация Флетчера, открывшего в начале XX в. феномен долгожительства – тщательное пережевывание пищи.

тов, Американского легиона. Он стремился контактировать со всем, с чем только возможно. Все это он хранил; излишки убирались в подвал. Бавацки, я или Лолли Фьютер, приходившая гладить три раза в неделю, уносили их вниз. Со временем некоторые материалы он продавал книжным магазинам или библиотекам, другие со своим штемпелем любезно посылал клиентам. Он также интересовался конкурсами и участвовал во всех состязаниях, о которых узнавал, – предлагал названия новым продуктам, придумывал девизы; он собирал яркие афоризмы, невероятные ситуации, удивительные фантазии, всевозможные предзнаменования, телепатические опыты и все это зарифмовывал:

Когда появилось радио,  
Я чуть не сошел с ума,  
Откладывал все до пенни –  
У меня даже выросла борода.  
Ты всегда рядом, приемник мой,  
В могилу унесу тебя, дорогой.

Этот стишок принес ему первое место в конкурсе «Ивнинг американ» и пять долларов вознаграждения.

В мои обязанности также входило следить за тем, чтобы все посылаемое на конкурсы, в том числе анаграммы на имена президентов или столиц штатов, фигурки слонов, составленные из крошечных цифр (какая сумма получится?), было аккуратно и правильно подготовлено и вложено в кон-

верт – заявки, купоны, скидки и наклейки. Кроме того, я должен был находить справки, работая в его кабинете или в библиотеке, – один из проектов Эйнхорна предполагал выпуск собрания сочинений Шекспира, снабженного указателем, как гедеоновская Библия<sup>63</sup>: «слабый бизнес», «плохая погода», «трудные клиенты», «неудачи с продажей последней модели года», «женщина», «брак», «партнеры». Тысяча и одно рассчитанное на показатель успех дело, приказы несложные, деньги немалые. И все время он болтал, дурачился, демонстрировал эрудицию, знание философии, проповедовал, был сентиментальным или по-французски изысканным, а то изображал клиентов магазина дешевых товаров на Кларк-стрит или жутких Катценяммеров<sup>64</sup> и некоего Стенога; дразнил молоденькую Лолли Фьютер, недавно приехавшую из шахтерского поселка, – девушку с зелеными глазами, пылающий огонь которых она даже не пыталась скрыть, а проходя в накрахмаленных юбках мимо мужчин, покачивала бедрами, выставляя на обозрение веснушчатую грудь. А Эйнхорн, еле сидевший на своем насесте, с безжизненными ногами, утверждал, вопреки всему, что ничем не отличается от прочих мужчин. Он не избегал разговоров о своем параличе – напротив, иногда хвастался, что победил его; так удачли-

---

<sup>63</sup> Библия, изданная и бесплатно распространяемая; обязательная принадлежность каждого гостиничного номера.

<sup>64</sup> От названия комикса про двух несносных мальчишек; впервые вышел в свет в 1897 г.

вый бизнесмен с удовольствием рассказывает о трудном детстве на ферме. И не упускал случая сыграть на чужих чувствах. Получив рекламные листы из магазинов, торгующих инвалидными колясками, ремнями и прочими приспособлениями, он посылал в ответ отпечатанное на ротаторе письмо под названием «Отгороженный от мира». Две страницы заметок и наблюдений, сентиментальных высказываний, взятых из «Записной книжки» Элберта Хаббарда<sup>65</sup>, цитат из «Танатопсиса»<sup>66</sup>: «Не как раб, загнанный плетью в каменоломню», а как благородный, мужественный грек; или из Уиттиера<sup>67</sup>: «Государь, взрослый мужчина – всегда республиканец»; или еще из каких-нибудь подобных сочинений. «О, душа моя, воздвигни больше неприступных замков!» Третья страница предназначалась для писем читателей. Все это я размножил на ротаторе, скреплял страницы и нес на почту, но после меня иногда охватывал страх и мурашки бегали по коже. Однако Эйнхорн говорил, что таким образом служит «отгороженным от мира». Для него это тоже было нелишней помощью, он привлекал страховую капитал, подписываясь «Уильям Эйнхорн, местный посредник», и разные компании оплачивали издержки. Подобно Бабушке Лош, он знал, как

---

<sup>65</sup> *Элберт Хаббард* (1859–1915) – американский бизнесмен и писатель, известный автор афоризмов.

<sup>66</sup> «Танатопсис» (в переводе с *греч.* «картина смерти») – стихотворение американского поэта Уильяма Брайанта (1794–1878).

<sup>67</sup> *Джон Г. Уиттиер* (1807–1892) – американский поэт, сторонник аболиционизма.

доить крупные фирмы. На их представителей он производил сильное впечатление – кислое выражение лица, интеллигентные усики, пронизательный взгляд темных глаз, узкие неподвижные плечи. На рукава он надевал подвязки – еще одна деталь дамского туалета. Эйнхорн старался манипулировать разными страховыми компаниями, заставлял их соревноваться, чтобы получить свои комиссионные.

Много мелких уколов равны сильному удару, говорил он, называя это своим методом; он особенно гордился умением пользоваться средствами, предоставляемыми нашим временем, чтобы ни в чем не уступать здоровым людям. А ведь в иную пору сидел бы себе дома и целиком зависел от матери или побирался у церкви, что в лучшем случае напоминает о смерти, а в худшем – о несчастьях, ждущих тебя, перед тем как обратишься в прах. Вот, например, сейчас неприятности, происходящие с калекой Гефестом, изобретавшим оригинальные механизмы, практически исключены – обычному человеку нет необходимости преодолевать препятствия при помощи рычагов, цепей и прочих приспособлений. Таким образом, именно человеческий прогресс позволил Эйнхорну сделать так много, ведь весь мир охватила страсть к усовершенствованиям; он не больше других зависел от разных машин, технических устройств, открывающихся дверей, коммунальных услуг и, следовательно, освобождался от небольших усилий, не дающих забывать об основном, посланном ему испытании. Если вы застанете Эйнхорна в серьезном

расположении духа, когда его полное большеносое лицо Бурбонов отражает задумчивость, он даст вам оценку механистического века, его сильных и слабых сторон, и свяжет все с историей инвалидов – расскажет о жестокости спартанцев, о том, что Эдип хромал, да и сами боги часто обладали разными увечьями: Моисей заикался, у Дмитрия Колдуна была усохшая рука, у Цезаря и Магомета – эпилепсия, лорд Нельсон ходил с приколотым рукавом, – и особенно машинного века с его явными преимуществами; я как солдат получал наставления от знающего военачальника, которому захотелось поделиться опытом.

Я был прирожденный слушатель, и Эйнхорн – при его учтивости, образованности, красноречии, любви к эффектам – не мог не произвести на меня впечатления. Он не был похож на Бабулю, поучавшую нас с высоты своих семидесяти пяти лет. Ему хотелось, чтобы речь текла легко и плавно и все восхищались его красноречием. Отечественного тона он не принимал. Мне никогда не приходило в голову считать себя членом семьи. Шанса, что положение может измениться и ко мне начнут относиться как к Артуру, их единственному сыну, практически не было, и меня выставляли за дверь всякий раз, когда обсуждались семейные дела. Для пущей уверенности, что мне в голову не западут подобные завиральные идеи, Эйнхорн время от времени расспрашивал меня о семье, словно и без того не знал всего от Коблина, Крейндла, Клема и Джимми. Этим он мудро ставил меня на место.

Если Бабуля надеялась, что мы, Саймон и я, понравимся богачу и он устроит нашу судьбу, то Эйнхорн думал иначе. Я не должен был рассчитывать, что его расположение и наша тесная, интимная связь могут привести к появлению в завещании моего имени. Любой на моем месте вынужден был бы оказывать ему интимные услуги. Иногда меня сердило, что он и миссис Эйнхорн подчеркивают мое зависимое положение. Но возможно, они поступали правильно, а наша старушенция заронила нам ложную мысль, хотя, по сути, я никогда в нее особенно не верил. Однако, высказанная вслух, она будоражила мое воображение. Эйнхорн и его жена эгоистичны, но недоброжелательными их не назовешь. Нужно признать по справедливости, и обычно мне это удавалось: они словно два человека, получающих удовольствие от завтрака на траве и не приглашающих вас к ним присоединиться. Если вы не умираете от желания съесть сэндвич, картина даже может показаться вам идиллической – аромат горчицы, нарезанный пирог, очищенные от скорлупы яйца, огурцы. Но Эйнхорн был эгоистом; его нос находился в постоянной работе, все вынюхивал, все чуял – иногда он гневался, иногда бесцеремонно поглядывал, нет ли свидетелей, но не смущался и в их присутствии.

Вряд ли я считал бы себя отдаленным наследником старого председателя, даже если бы не подчеркивали мою чужеродность, обсуждая вопросы наследования.

Эйнхорны по необходимости утопали в проблемах

страхования, собственности, тяжб, юридических ошибок, неудачного сотрудничества, нарушенных обязательств и оспоренных завещаний. Об этом говорилось, когда собирался клуб знатоков, состоящий из солидных друзей семьи, о социальном положении которых можно было догадаться по дорогим кольцам, сигарам, носкам, панамам; они, в свою очередь, классифицировались по степени удачи и мудрости, по происхождению и качествам характера, власти над женами, женщинами, сыновьями, дочерьми или, напротив, мягкотелости, по физическим недостаткам; по тем ролям, которые играли в комедиях, трагедиях, сексуальных фарсах; по тому, оказывали они давление на людей или испытывали его сами, управляли событиями или были игрушкой в руках судьбы; по способности жульничать, организовать выгодное банкротство, по умению зажигать людей, по жизненным перспективам, по своей удаленности от смерти. Учитывались и заслуги: кто из пятидесятилетних был хорошим мальчиком, способным на жертву, дружбу, участие, решимость, требование разумных процентов, кто мог пожертвовать деньги на благотворительность, будучи не в состоянии написать свою фамилию, поддерживать синагогу, опекать польских родственников. Известно было о каждом: у Эйнхорна все отмечалось. Да и вообще все обо всем знали. Хорошая и плохая информация распространялась быстро. Разговоры на скамейках или за картами в пристройке к офису велись преимущественно о делах: управлении доходами, по-

гашении долга в рассрочку, завещаниях – и практически ни о чем другом. Резким контрастом были разговоры о Лабрадоре, высоте Анд, о застрявшем в трещине глубоко под водой корнуолльском шахтере. На стенах висели постеры с изображениями людей, оказавшихся в огненной западне, или хозяек, на глазах которых рушатся полки в кладовых, где крысы подгрызли балки. Все это напоминало, что нельзя снимать с повестки дня вопрос о наследовании. Любил ли меня старый председатель? Миссис Эйнхорн была доброй женщиной, но иногда смотрела на меня, словно Сара на сына Агари. Хотя здесь отсутствовал повод для беспокойства. Абсолютно. Я не был родственником, а старик тоже лелеял династические идеи. Да я и сам не стремился пролезть в наследнички и отхватить часть того, что причиталось ее элегантному и образованному сыну Артуру. Председатель, конечно, мне симпатизировал, хлопал по плечу, давал чаевые и тут же забывал о моем существовании.

Он и Эйнхорн представляли загадку для Тилли. Ее короткая стрижка «под фараона» украшала головку, щедро наделенную только физически: она и представить не могла, о чем они думают, особенно муж – такой услужливый, работоспособный, переменчивый. Она повиновалась ему словно высшему существу и выполняла поручения, как все мы. Он посылал ее в ратушу за сведениями из архива или в патентное бюро; писал для нее памятные записки, поскольку она никогда не могла объяснить, что ему требуется, и в ответ прино-

сила информацию, написанную служащим. Задумав что-то важное, Эйнхорн отправлял жену на весь день к двоюродной сестре на трамвае в южную часть города, чтобы не мешала. Ему хотелось доставить ей удовольствие и одновременно избавиться от ее присутствия, и, как ни странно, она это знала.

Теперь представьте, что вы находитесь в доме Эйнхорна во время ланча. Миссис Эйнхорн не любит возиться на кухне и предпочитает готовые или простые блюда – деликатесы, консервированную лососину с луком и уксусом, гамбургеры и жареную картошку. И эти гамбургеры не тощие котлеты с добавлением кукурузной муки из мест общественного питания, а большие куски мяса, напичканные чесноком, с румяной корочкой. Приправой служат хрен и соус чили – с ними такую еду легче проглотить. Так питались в доме, и это было столь же привычно, как домашние запахи или мебель, и если случайный гость заглядывал на огонек, то ел то же самое и не смел выражать недовольство. Председатель, Эйнхорн и Дингбат, не задавая лишних вопросов, ели много, обычно запивая еду чаем или кока-колой. Потом Эйнхорн принимал ложку байсодола<sup>68</sup> и выпивал стакан «Уокешо»<sup>69</sup> от метеоризма. Над этой слабостью он подшучивал, но никогда не забывал таким образом застраховаться и вообще внимательно следил за происходящими в своем организме процессами – чтобы язык не был обложен и все остальное тоже работало

---

<sup>68</sup> *Байсодол* – лекарство от расстройства желудка.

<sup>69</sup> «Уокешо» – минеральная вода из источника на западе штата Висконсин.

как часы. Порой он вел себя словно собственный врач и тогда был очень серьезен. Он любил повторять, что для врачей он роковой пациент, особенно для тех, кто не оставлял ему надежды.

– Двух из них я похоронил, – говорил он. – Каждый сообщал мне, что больше года я не протяну, а сам еще раньше отдавал концы.

И с удовольствием рассказывал эту историю другим докторам. Он усердно заботился о себе и с тем же усердием высмеивал объект этих забот – чучело с костлявым задом; он высовывал язык, выглядя при этом смешно и глупо, и скашивал глаза. И все же он всегда заботился о своем здоровье, принимал прописанные ему порошки, железо и пилюли для печени. Можно даже сказать, что он мысленно помогал их усвоить организму, которого уже коснулась смерть – мозга, половых органов, внимательных глаз. Нет, конечно, он и теперь во многом был ходячим концерном, но ему приходилось думать о себе больше, чем это делали другие; ведь если бы он слег, то проиграл бы полностью, и этому не нашлось бы оправданий – дохлый номер, старая калоша, всеобщая обуза, ноль. Я это знал, потому что Эйнхорн не скрывал своих мыслей; то есть он не распространялся, сколько денег у него в банке и какой собственностью он владеет, но о жизненно важных вещах говорил открыто и делился со мной всем, особенно когда мы оставались вдвоем в кабинете, работая над одним из его проектов, который, чем более Эйнхорн старал-

ся быть методичным, становился все фантастичнее и запутаннее, так что в конце концов перед нами представал супермонстр и его невозможно было привести в действие ни кнопкой, ни рукояткой.

– Понимаешь, Оги, в моем положении другой выпал бы из жизни. Существует мнение, что люди – всего лишь мешки с трепухой; если поищешь, найдешь это в «Гамлете». Какая тонкая работа – человек, небесный свод окрашен золотом, – но от всего этого *gescheft*<sup>70</sup> мне скучно. Взгляни на меня. Я недостаточно проворен и не добиваюсь необыкновенных результатов. Можно сказать, что такому не стоит участвовать в конкуренции. Однако на сегодняшний день я заправляю большим бизнесом... – Это не была чистая правда, поскольку у руля по-прежнему оставался председатель, но тем не менее. – ...и никто не может упрекнуть меня, будто я гнию под одеялом в задней комнате или, всем недовольный, ною и ворчу, и люди стараются обойти меня стороной, чтобы не слышать. Вот подобные тебе – сильные, словно жеребцы, и розовощекие, как спелые яблочки. Всеобщий любимец Алкивиад<sup>71</sup>, ей-богу! Не знаю, насколько хорошо у тебя с мозгами, ты еще шалопай, но даже если проявишь смекалку, все равно никогда не попадешь в тот круг, где будет мой сын Артур. Не обижайся на правду – считай, повезло, если те-

---

<sup>70</sup> Выгодного коммерческого дельца (*идиши*).

<sup>71</sup> *Алкивиад* (ок. 450–404) – афинский государственный деятель и полководец; славился своей красотой и честолюбием.

бе ее сказали. В любом случае быть Алкивиадом уже не так плохо. Это дает тебе преимущество над остальными. Только не думай, что прототип пользовался одной лишь любовью. Его ненавидели все за исключением Сократа – по отзывам современников, тот был урод, каких мало. И ненавидели не только потому, что юноша свалил в храме гермы перед тем, как уплыть на Сицилию. Но, возвращаясь к теме нашего разговора, одно дело – купаться в наслаждениях, как Сарданапал<sup>72</sup>, и совсем другое – со стороны взирать на радости жизни. Так ведь? Нужно быть гением, чтобы возвыситься над этим...

Спокойные, спокойные, спокойные дни в кабинете в задней части дома – на столе клеенка, бюсты у стен, невидимые автомобили гудят и дребезжат, двигаясь к парку, солнце разливается во дворе за окном, скрытом от воров решеткой, бильярдные шары стучаются и катятся по сукну, тихая, очень тихая дверь владельца похоронного бюро, кошки, сидящие на тропинках лютеранских садилов на другой стороне улочки, подметенных и ухоженных, с едва видимыми следами датчанок – диаконесс, выходящих на резное и всегда свежеекрашенное крыльцо своего дома.

Иногда меня больно ранило сравнение с его сыном, но я не возражал против Алкивиада, предоставив Эйнхорну быть в таком случае Сократом, к чему он и клонил. Наши предпочтения ничем не уступали титулам закованных в доспехи

---

<sup>72</sup> *Сарданапал* – мифический царь Ассирии.

английских королей по отношению к Бруту. Если вы расположены видеть свой идеал в атмосфере античного совершенства и чувствовать себя своим в доме великого народа, не собираюсь препятствовать этому. Хотя не мог бы на сто процентов быть единомышленником такому человеку, как преподобный Бичер<sup>73</sup>, внушавшему своей пастве:

– Вы боги! Вы чисты как хрусталь! Ваши лица сияют!

У меня не вызывают подобного оптимизма ни отдельные личности, ни группы лиц; я вообще считаю, что видеть вещи как они есть – редкий дар, особенно во времена порочные, поистине вавилонские, когда люди больше напоминают щепку или вулканическую пыль, чем хрусталь, – во всяком случае, так воспринимают их те, в ком сохранилось изящество, – тогда лучший выход из положения прикинуться среднесортным кварцем. Интересно, где в мироздании по-настоящему отзовутся при восклицании «*Ното сум!*»<sup>74</sup>. Но я всегда был готов отчаянно рисковать, хотя Эйнхорн не производил на меня такого сильного впечатления, как хотел бы, своими банкирскими брюками, галстуком канцлера и бездействующими скрюченными ножками на предназначенном конкретно для него хитроумном изобретении, похожем на кресло парикмахера. Я никак не мог понять, считает он себя подлинным гением или наделенным чертами гениальности человеком; полагаю, он хотел поселить в окружающих

---

<sup>73</sup> Генри Уорд Бичер (1813–1887) – священник, активный abolitionист.

<sup>74</sup> Я человек! (лат.)

сомнения. Не тот он был человек, чтобы вот так открыто всем заявить, что он не гений, когда такая возможность все-таки существовала, нечто вроде *polens volens*<sup>75</sup>. Некоторые – например его единокровный брат Дингбат – считали его гением. Дингбат говорил направо и налево:

– Уилли – чародей. Дайте ему телефонный жетон в двадцать пять центов, он изловчится и наживет на нем целое состояние.

Жена безоговорочно соглашалась: да, муж – чародей. Она восхищалась всем, что он делал, а это было немало. Муж являлся для нее главным авторитетом, даже большим, чем ее кузен Карас, управляющий компанией «Холлоуэй энтерпрайзис энд менеджмент», тоже большой мастер делать деньги. Безнравственный, циничный, накачанный виски Карас, с безукоризненной деловой хваткой, одетый с иголки, с кошачьей улыбочкой и глазами шантажиста, также вызывал в ней благоговение, но до Эйнхорна недотягивал.

Эйнхорн не взирал со стороны на радости жизни. Он флиртовал то с одной женщиной, то с другой, особенно ему нравились девушки типа Лолли Фьютер. Свое поведение он объяснял тем, что пошел в отца. Председатель восхищался всеми женщинами, держался с ними добродушно, спокойно, ласково, снисходительно и лапал их, когда и где хотел. Мне кажется, те не слишком на него сердились из-за таких приветствий: ведь он у каждой выбирал то местечко, каким

---

<sup>75</sup> Волей-неволей (*лат.*).

женщина больше всего гордилась, – румяные щечки, груди, волосы, бедра; он особым чутьем раскрывал все их секреты. Нельзя назвать это проявлением обычной похоти, нет, здесь было нечто соломоновское – отношение правителя в преклонном возрасте или стареющего морского льва. Большими, в старческих пятнах руками он щупал замужних, девиц и даже отроковиц, желая понять, что те сулят в будущем; никто на него не обижался, как и на изобретаемые им прозвища: Мандаринка, Саночки, Мадам Прошлый Год или Шестифутовая Голубка. Великолепный старый джентльмен. Счастливый и довольный. Видя, как он опутывает сетью нежности женский пол, можно было предположить развитие отношений между ним и женщинами, ныне состарившимися или умершими; кого-то из них он, возможно, встречал и сейчас, а при встрече трепал за нос или щипал за грудь.

Сыновья не унаследовали эту черту. Конечно, нельзя ожидать от молодых мужчин старческой безмятежности, но в них отсутствовала и склонность к объективности и раздумью. Дингбат был более романтичным. Не припомню времени, когда он не был обручен с какой-нибудь очаровательной девушкой. Отмывшись и нарядившись, он спешил к ней в безграничном почтении, близком к отчаянию. Иногда казалось, что он вот-вот расплчется от нахлынувших чувств; готовясь к свиданию, он выбегал из пропитанной ароматом духов ванной – волосы кудрявились на груди под распахнутой крахмаленной рубашкой – и кричал, чтобы я принес кор-

саж от Блюгрена. Он всегда считал, что недостаточно хорош для них, и не знал, как им угодить. Но чем больше он боготворил своих избранниц, тем чаще сбегал к шлюхам, которых подбирал на «Гийон-Парадиз» и возил в «Форест-Презерв» в «стаце» или в маленькую гостиницу на Уилсон-авеню, владельцем которой был «Карас-Холлоуэй». Но в пятницу вечером на семейном обеде обязательно присутствовала очередная невеста – преподаватель фортепьяно, модельер, бухгалтер или просто девушка из приличной семьи с обручальным кольцом на пальце и прочими дареными украшениями; Дингбат сидел рядом в галстукe, напряженный, немного глуповатый, и уважительно обращался к ней хриплым унылым голосом: «дорогая», «Изабелла, дорогая», «Дженис, дорогая».

Эйнхорн, однако, не испытывал подобных чувств или испытывал их по другим поводам. Как и отец, он позволял себе шуточные вольности, но его шутки были иного порядка; это не означает, что там отсутствовала изюминка, просто он использовал их только для одной цели – обольщения. В шутках высмеивалась его беспомощность – он завел такой стиль, но в то же время намекал женщинам, что если они посмотрят ниже, то, к своему изумлению, увидят нечто стоящее, совсем не ущербное. Он сулил наслаждение. Демонстрируя свой сладострастный, чувственный шарм, он казался полностью безопасным, как мудрый священник или пожилой джентльмен, от которого незазорно принять и лестное

подшучивание или щекотание, хотя на самом деле был нацелен только на одно, а именно на то, для чего сходятся мужчины и женщины. Он вел себя так со всеми: не ждал какого-то ошеломляющего успеха, но надеялся, что одна из них, красивая, прогрессивная, заведет с ним интрижку, вступит в тайную связь – может быть, слегка извращенную (он предлагал), почувствует, что это такое, привыкнет, будет страстно желать его. В каждой женщине он надеялся встретить именно это.

Он, Эйнхорн, не хотел быть калекой и не хотел искалечить собственную душу. Иногда он переживал ужасные моменты, понимая, что, неоднократно пытаясь примириться со своим состоянием, может потерять все и уподобиться волку в зоопарке, который бродит по клетке вперед-назад, вперед-назад и тычется мордой в углы. Но такое случалось редко, не чаще, чем прилив отчаяния у обычных людей, однако случалось. Заговорите с ним, когда он голоден, простужен и у него легкий жар, или неважно идут дела, или его положение недостаточно прочно и он не получает должного уважения и нужного количества писем – или когда сквозь множество элементов, из которых он соткал себе жизнь, вдруг проступает страшная правда, и тогда он скажет:

– Я решил: либо вновь буду ходить, либо выпью йод. Делал массажи, гимнастику и специальные упражнения, сосредотачиваясь на отдельной мышце и как бы собственной волей создавая ее заново. Но все полная чушь, Оги, и теория Куэ и

так далее. Никуда не годится. И «Этого можно добиться», и прочая дребедень, о чем этот задавака Тедди Рузвельт<sup>76</sup> писал в своих книгах. Никто не знает, чего мне все это стоило, пока наконец я не понял, что нахожусь в тупике. Я не мог с этим смириться, но смирился. Не могу и сейчас смириться – и все же смиряюсь. Но как! Можно прожить со своей бедой двадцать девять дней, но приходит чертов тридцатый, когда у тебя нет сил и ты чувствуешь себя полудохлой мухой на первом морозце, и тогда ты оглядываешься по сторонам и думаешь, что похож на старика из моря, усевшегося Синдбаду на шею, – почему кто-то должен тащить на себе никому не нужный, завистливый хлам? Если бы наше общество было разумным, мне не отказали бы в эвтаназии. Или поступили бы как эскимосы, оставляющие стариков в иглу с запасом еды на двое суток. Да не смотри ты на меня с жалостью. Теперь иди. Узнай, не нужен ли ты Тилли.

Разговоры эти происходили на тридцатый день или еще реже, поскольку обычно Эйнхорн пребывал в добром здравии и ощущал себя полезным членом общества, к тому же экстраординарным, и похвалялся, что вряд ли найдется такая задача, которую он при желании не решил бы. И он действительно многого добивался. Чтобы остаться наедине с Лолли Фьютер, он смел всех со своего пути, устроив нам поездку в Найлс-сендер, чтобы показать председателю некую

---

<sup>76</sup> Теодор Рузвельт (1858–1919) – 26-й президент США (1901–1909). Много занимался литературным трудом, получил Нобелевскую премию мира (1905).

недвижимость. Для видимости Эйнхорн разложил перед собой папки и информационные материалы, чтобы убедить нас, будто собирается работать, – неторопливый, сосредоточенный, спокойный, он, надев очки в черепаховой оправе, подробно отвечал на наши последние вопросы и даже задержал отъезд, сообщив отцу о границах участка и удобствах:

– Подожди, я покажу тебе на карте, где ходит дополнительный автобус. Принеси мне карту, Оги.

Он заставил принести карту и удерживал председателя до тех пор, пока тот не стал нервничать: Дингбат без устали жал на клаксон, а миссис Эйнхорн, удобно устроившаяся с пакетами фруктов на заднем сиденье, взывала:

– Ну идите же! Жарко! Мне нехорошо.

Лолли тем временем неторопливо прохаживалась со шваброй в руках в полумраке коридора между офисами и квартирой, толстая и мягкая; в легкой блузке и соломенных сандалиях она не страдала от жары и напоминала девочку-переростка с куклой, смущенную тем, что затеяла эту игру в дочки-матери, – беззаботное и несерьезное занятие тем не менее готовило ее к будущей взаправдашной жизни. Клем Тамбоу пытался рассказать мне, что последует за нашим отъездом, но не убедил меня – не только из-за эксцентричности такого поступка и моего мальчишеского преклонения перед Эйнхорном, но и из-за того, что я сам завел шашни с Лолли. Когда она гладила, я под любым предлогом оказывался на кухне. Она рассказывала мне о своей семье из шахтерско-

го района Франклин-Каунти, о тамошних мужчинах, об их успехах и делах. Лолли вызвала во мне бурю чувств. Только от одних намеков я чуть не терял сознание. Вскоре мы стали целоваться и обжиматься; она то отбрасывала мои руки, то сама засовывала их под платье, возбужденная тем, что я еще девственник, и однажды по доброте душевной предложила зайти вечером и проводить ее домой. Я еле держался на ногах из-за сильного сексуального возбуждения. Укрывшись в бильярдной, трясся от страха, как бы Эйнхорн не послал за мной. Но тут появился Клем с поручением от Лолли: она передумала. Я огорчился, но в то же время почувствовал себя свободным.

– Ведь я тебя предупреждал, – сказал Клем. – Вы оба работаете на одного хозяина, а она – его маленькая бухточка. Его и еще парочки парней. Тебе тут не светит. Ты ничего не умеешь, да и денег у тебя кот наплакал.

– Но какого черта!

– Эйнхорн ей что-нибудь подарит. Он с ума по ней сходит.

Это не укладывалось у меня в голове. Непохоже, чтобы Эйнхорн тратил свои драгоценные чувства на обычную шлюху. Но именно так и было. Он на ней помешался, хотя и знал, что делит ее еще с несколькими бандюгами из бильярдной. Конечно, знал. Эйнхорн всегда владел информацией, у него был склад всевозможных сведений – вроде большого муравейника, куда со всех направлений извилистыми путями поставщики несли свой пай. Ему сообщали о новом повороте

в деле Лингла, расписании публичных торгов, о решениях апелляционного суда еще до появления их в печати, о том, где продаются имеющие спрос товары – от мехов до школьных принадлежностей. И о Лолли он знал все от начала до конца.

Элеонора Клейн задавала мне сентиментальные вопросы. Есть ли у меня возлюбленная? Похоже, я созрел для этого. Наш старый сосед Крейндл тоже расспрашивал меня, но иначе – его интересовало количество. Он полагал, что я уже не прежний несмышлениш и со мной можно кое о чем поговорить; его косые глаза при этом загорались веселым огоньком.

– Завел красотку, Оги? У тебя есть друзья? Конечно, не мой сын. Он приходит домой из магазина и садится за газету. *S'interessiert ihm nisht*<sup>77</sup>. Ты ведь не слишком юный, так ведь? Я был моложе тебя и *gefährlich*<sup>78</sup>. Никак не мог насытиться. Котце не в меня.

У него была острая потребность объявить себя лучшим и, по сути, единственным мужчиной в доме, и он действительно выглядел очень здоровым, когда чистил зубы или невозмутимо драил тротуар перед домом. Он не боялся непогоды, потому что исколесил весь Вест-Сайд с образцами своей продукции. Ему приходилось экономить каждый цент. И у него хватало терпения и настойчивости совершать один и тот же маршрут и двадцать раз в месяц проходить мимо свин-

---

<sup>77</sup> Его ничего не интересует (нем.).

<sup>78</sup> Напористый (нем.).

цовых решеток на фабричных окнах, изучив до последнего сорняка пустые участки на своем пути. Добравшись, он мог часами бродить вокруг да около, дожидаясь мелкого заказа или нужной информации.

– Котце похож на жену. Он kaltblutig<sup>79</sup>.

Я и так знал, что это Крейндл ревел, визжал и топал в своем доме, швыряя вещи на пол.

– А как поживает твой брат? – спросил он с интересом. – Думаю, девчонки от него писают кипятком. Чем он занимается?

Но я не знал, чем занимается Саймон. Он не посвящал меня в свои дела, да и моими не интересовался, решив, что я всего лишь мальчик на побегушках у Эйнхорна.

Однажды я пошел с Дингбатом на вечеринку к одной из его невест, где встретил брата, пришедшего туда с девушкой-полячкой в отороченном мехом оранжевом платье; он был в просторном добротном костюме в клетку, отлично выглядел и казался довольным жизнью. Они скоро ушли, и осталось ощущение, что это из-за меня. А может, ему не понравилось, как Дингбат задумал эту вечеринку, не привлекали его анекдоты и пародии, произносимые хриплым голосом, тупые шутки и непристойности, над которыми хихикали девицы. Уже несколько месяцев мы с Дингбатом были неразлейвода. На вечеринках я шагал рядом с ним, изображая глупого простака, и, как он, тискал девушек на крыльце

---

<sup>79</sup> Холодный (нем.).

или во дворе. Он взял меня под свою защиту и в бильярдной, где мы с ним боксировали (я неудачно), играли в снукер<sup>80</sup> – здесь я чувствовал себя увереннее, – и проводили время в обществе хулиганов и болтунов. Если бы Бабушка Лош увидела, как я возвышаюсь на табурете над зелеными столами. в шляпе с дырочками для вентиляции, отделанной сверкающими камешками, медными булабочками и пуговицами, в туфлях на каучуковой подошве и в индейском свитере – в зале, где глухо наигрывает джаз, стоит шум от трансляций бейсбольных матчей, щелчков маркеров, пульсирующих радиосигналов; увидела на полу крошки от голубого мела, а в воздухе пыль от наносимого на руки талька, то подумала бы, что сбываются самые худшие ее предсказания. А рядом – важно расхаживающие головорезы, новички, готовые пополнить воровские банды, угонщики автомобилей, грабители, бейсболисты и вышибалы, «подмастерья», мечтающие стать профессиональными убийцами, местные ковбои с длинными баками в духе Джека Холта<sup>81</sup>, студенты, дешевые хвастуны, мелкие рэкетеры, боксеры, бывшие военные, мужья-гуляки, таксисты, дальнобойщики и посредственные спортсмены. Когда кто-то из них задирал меня – а здесь было много взрывных парней, готовых придрататься к ерунде, – Дингбат бросался на мою защиту:

– Этот парнишка – мой друг, он работает на моего брата.

---

<sup>80</sup> *Снукер* – разновидность бильярдной игры.

<sup>81</sup> *Джек Холт* (1888–1951) – американский актер.

Только троньте его, мало не покажется. Вы что, такие крутые или просто жрать хотите?

Если дело касалось вопросов чести, он был чертовски серьезен. Костлявые пальцы сжимались в кулаки, каблуки упирались в пол, морщинистый подбородок воинственно склонялся к плечу под накрахмаленной сорочкой. Затем он начинал подпрыгивать и наносить удары.

Но из-за меня драк не было. Если я что и усвоил из уроков Бабушки Лош, так это ее наставление отвечать всегда вежливо, хотя для Бабули сие был тактический прием, не имевший никакого отношения к благовоспитанности и возводивший барьер между мной и дикарями, дураками и задирами. Не хочу утверждать, будто отводил чужой гнев своим тренированным духом или *integer vitae*<sup>82</sup> (разве я могу?) и тем заставлял грубых и жестоких мужчин уважать себя, у меня просто не было вкуса к постоянной опасности, презрительному прищурю глаз, коварности Тибальта, готового нанести мгновенный удар кинжалом, – подобный код поведения нехарактерен для меня, мне нелюбопытно, что это такое – избить кого-то или быть избитым самому, поэтому я ни с кем не держусь вызывающе и стараюсь не возбуждать такого желания в других.

Я знал точку зрения Эйнхорна по этому поводу; он любил приводить пример, как однажды сидел за рулем «стаца» – иногда он действительно садился на место водителя и его во-

---

<sup>82</sup> Беспорочной жизнью (*лат.*).

зили на теннисный матч или другие игры – и к нему подбежал грузчик с монтировкой, потому что он посигналил раза два, чтобы Дингбат поторопился.

– Я ничего не мог бы сделать, – говорил Эйнхорн, – если бы он, не задавая вопросов, стал размахивать этой монтировкой, а то и набил бы мне морду. Видя мои руки на руле, он решил, что я водитель. Чтобы объясниться, пришлось бы говорить быстро. Но сумел бы я говорить достаточно быстро? Какие слова произвели бы впечатление на это животное? Может, стоило притвориться, что я в обмороке или вообще умер? Бог мой! Еще до моей болезни – а я был крепким молодым человеком – я избегал вести дела с разными негодями, обезьянами, у которых мускулы заменяют мозг, или просто неуравновешенными людьми, ищущими неприятностей на свою голову. Этот город – уникальное место; здесь человек, мирно идущий по улице, может вернуться домой с синяком под глазом или разбитым носом, причем пострадать можно не только от парочки олухов, которым не хватило монет, чтобы покатать девиц на аттракционах, и потому они пошли грабить незнакомцев в переулке, но и от дубинки стража порядка. Как ты знаешь, копы живут не на городское жалованье. Ни один грузовик с контрабандным спиртным и мили не проедет без сопровождения полицейского автомобиля. Поэтому они творят что хотят. Я слышал, как они чуть до смерти не забили парней, которые плохо знали английский и не могли ответить на их вопросы.

Теперь же, обретя дальновидность и мешки под глазами, он увеличил радиус своего действия; иногда, с седыми прядями за ушами и запрокинутой головой, он имел царственный вид и, ослабив инстинкт самосохранения, страдал больше за что-то, чем от чего-то.

– Но в суровости чикагской жизни есть свое преимущество – здесь не питаешь иллюзий. В то время как в крупнейших столицах мира человеческая природа представляется другой: античная культура, великолепные произведения искусства, выставленные на всеобщее обозрение, Микеланджело и Кристофер Рен<sup>83</sup>, торжественные церемонии вроде выноса знамени на параде конной гвардии или захоронения великого человека в парижском пантеоне. Видя все эти замечательные вещи, вы думаете, будто дикость осталась в прошлом. Вы так думаете. Но по зрелом размышлении понимаете, что после избавления женщин от работы в угольных шахтах, разрушения Бастилии, упразднения Звездной палаты<sup>84</sup> и *letter de cachet*<sup>85</sup>, изгнания иезуитов, роста образования, построения больниц и распространения культуры и вежливости, после всего этого пять или шесть лет были отданы войне и революциям, в результате которых погибли двадцать мил-

---

<sup>83</sup> *Кристофер Рен* (1632–1723) – крупнейший английский архитектор и математик, автор проекта собора Святого Павла.

<sup>84</sup> Звездная палата с XV в. – судебная коллегия, состоящая из членов палаты лордов; обладала практически неограниченной судебной властью; распущена в 1641 г.

<sup>85</sup> Королевский указ об изгнании без суда и следствия (*фр.*).

лионов человек. Так неужели там жить менее опасно, чем здесь? Это заблуждение. Проще признать, что там убивают лучших, держа людей в заблуждении, будто самые кровожадные существа обитают на Ориноко, где живут охотники за человеческими головами, и в Чичеро с Аль Капоне. Но лучших всегда ждет жестокое обращение или смерть. Я видел картинку, где изображен Аристотель, которого, словно коня, оседлала отвратительная шлюха. Пифагора убили из-за чертежа; Сенеке пришлось перерезать себе вены; многие проповедники и святые приняли мученическую смерть.

– Что, если сюда войдет кто-то с ружьем и увидит за столом меня? – говорил он. – Если последует приказ поднять руки, неужели ты думаешь, он будет ждать, пока я объясню, что они парализованы? Он решит, что я лезу в ящик за оружием или ищу сигнальную кнопку, и тогда конец Эйнхорну. Взгляни на статистику грабежей и попробуй после этого сказать, что я все выдумываю. На самом деле над моим столом нужно повесить вывеску «калека». Но мне не хочется постоянно видеть ее перед глазами. Единственная надежда, что фирменные наклейки компаний «Бринкс» и сысского агентства «Пинкертон» отпугнут грабителей.

Эйнхорн часто предавался мыслям о смерти, и, несмотря на всю его просвещенность во многих областях, она представлялась ему стариком в мятых кальсонах – такую смерть прелестные девушки не могут увидеть в своих зеркалах: ведь те отражают их белоснежные грудки, голубой отблеск старых

германских рек, города, разделенные на квадраты, как пол в их домах. Его смерть была старым мошенником, из-под оленьей шкуры виднелся череп, он сильно отличался от благородного сэра Седрика Хардуика<sup>86</sup>, приветствовавшего юношей из листвы яблонь, как в пьесе, которую я однажды видел. У Эйнхорна не было таких сентиментальных представлений – только иррациональное ожидание страшного палача, и он всего лишь прикидывался не боящимся смерти стоиком, однако ему всегда удавалось победить ее – смерть! – которая постоянно охотилась за ним.

И возможно, была единственным его богом.

Я часто думал, что в душе Эйнхорн полностью подчинился этому страху. Но когда казалось, будто по делам и поступкам вы постигли его, то вдруг оказывались не в центре лабиринта, а на широком проспекте, и он являлся в новой ипостаси – хозяин в лимузине в сопровождении полицейской охраны, властный и неизбежный, всеобщий любимчик, и смерть для него являлась только одним – и очень отдаленным – фактором жизни.

---

<sup>86</sup> *Сэр Седрик Хардуик* (1893–1964) – известный английский актер, любимый актер Бернарда Шоу.

## Глава 6

А чего я сам хотел в конце концов? На этот вопрос я не смог бы ответить. Мой брат Саймон ненамного меня старше, и он, и другие юноши нашего возраста уже понимали, что в жизни надо определяться, каждый искал свой путь, и только я топтался на месте. Эйнхорн со своей стороны знал, какие услуги ему от меня требуются, но что мог дать мне он, было неясно. Я чувствовал страстное стремление, но не понимал, к чему именно.

До появления пороков и всяческих недостатков, приходящих с усталостью зрелого возраста, – весьма обычных, которые нет нужды перечислять, есть, или предполагается, что есть, период нежный, бессознательный, естественный, сродни пасторали сицилийских влюбленных пастушков или времен, когда львов отгоняли камнями, или золотых змеек, падавших из клубков в расщелины Эрикса<sup>87</sup>. Я говорю о ранних жизненных картинах; ведь каждый человек, абсолютно каждый начинает жизнь в раю, потом неизбежно попадает в раскинутые сети, переживает боль, несчастья, извращения и смерть, а с ней мрак, из которого, по некоторым данным нам подсказкам, есть надежда начать все заново. Существует страх перед унынием, знаменами смерти, наговором, сгла-

---

<sup>87</sup> Эрикс – древнее название горы в Сицилии, на вершине которой находился храм Афродиты.

зом и всем, что порождается отсутствием воспоминаний о счастье и надежды на него. Но если нет ни сицилийских пастушков, ни отрады на природе, а лишь раздражение от городской жизни, если ты глубоко погряз в городских заботах и никто не посылает тебя в твоём ефод<sup>88</sup> служить Богу в храме, и рыдающие сестры не провожают тебя, когда ты садишься на коня, чтобы ехать в Боготу изучать греческий, а просто постоянно торчишь в бильярдной, – ну как тут стремиться к высокому? Впрочем, какое счастье или противодействие от невзгод могут принести эти свирели, овечки, невинность, пропитанная молоком и музыкой, или даже обыкновенные прогулки в лесу с одутловатым преподавателем в защитных очках, или уроки игры на скрипке? Друзья, приятели, мужчины, собратья – не существует краткого, систематизированного, застенографированного метода, с помощью которого можно было бы сказать, куда они тебя приведут. Крузо, наедине с природой, под голубыми небесами вел жизнь, полную трудов и забот, в отрыве от остального человечества; я же нахожусь среди толпы, которая воздаёт должное результатам деятельности с большой неохотой, и сам являюсь её частью.

Какое-то время Дингбат оказывал на меня влияние, посвящая в тайны городской жизни. Он собирался научить меня тому, чему не может научить его брат. Я узнал, что Динг-

---

<sup>88</sup> *Ефод* – часть облачения еврейского священнослужителя.

бат мечтает возвыситься в глазах председателя и Эйнхорна и рассчитывает добиться успеха. Он клялся, что все будет именно так: он способен разбогатеть, прославиться, стать известным тренером, имя которого будет звучать по радио рядом с именами знаменитых людей, выходящих на ринг перед боем в очках со сверкающими линзами. Время от времени он брал в подопечные очередного боксера, некоторые были великолепны. При мне Дингбат стал тренером тяжеловеса. Наконец, сказал он, у него в учениках настоящий талант. Нейлз Нейджел. У Дингбата были боксеры среднего и полусреднего веса, но хороший тяжеловес приносит больше денег, если тянет на чемпиона, а Дингбат утверждал – точнее, запальчиво выкрикивал, – что это именно так. Нейлз тоже иногда позволял себе думать такое; хотя в глубине души сомневался в этом, иначе бросил бы работу в автосервисе и с головой ушел в бокс. Его могучие белые руки заканчивались кулаками с глубоко въевшейся грязью, он действовал ими то методично, то порывисто; удар усиливали крепчайшие сухожилия. Челюсть у него тоже была мощная – уклоняясь от ударов, он прижимал ее к бритому горлу; и еще он носил кепку, козырек которой нависал над глубоко посаженными глазами. Поруганная достойная мужественность, никому не желающая вреда, канат из конского волоса или доживающий свой век потрепанный мяч – вот такое он производил впечатление. Он был очень силен, однако нещадную эксплуатацию переносил с ангельской кротостью; атакуя, его

крупное белое тело двигалось поразительно легко для тяжеловеса. Чего он не умел, так это думать на ринге. Он во всем слушался Дингбата, тяжело переживал, что им управляют, но не мог отстаивать свою точку зрения, поскольку выбитые зубы мешали ему быстро говорить, и остряки из бильярдной подшучивали:

– Нужно сменить топливо – в такую погоду мотор не заводится.

Его мать уже много лет работала в магазине, торгующем птицей, ощипывала кур и гусей, ходила в хлопчатобумажном халате, ее рот всегда был приоткрыт из-за выпиравших зубов. Она хорошо зарабатывала и до сих пор давала Нейлзу больше денег, чем тот получал сам. Он работал, только когда понимал, что может в этом деле преуспеть.

Однако ему до безумия хотелось, чтобы им восхищались как боксером, и он был вне себя от счастья, когда Дингбат взял его с собой, отправившись на переговоры в молодежный клуб, расположенный на Дивижн-стрит, по приглашению друга по бильярдной, спонсора этого заведения. Дело было так: Дингбат и Нейлз пошли туда в своих лучших костюмах, замшевых туфлях, новеньких фетровых шляпах, позвякивая ключами на брелоках.

– Ребята, первое, что вы должны усвоить: важно жить в чистоте, постоянно тренироваться, пить много молока, есть овощи и спать с открытыми окнами. Взять, к примеру, такого боксера, как мой парень. – Счастливая улыбка Нейлза,

посылаемая всем. – Где бы он ни находился, по крайней мере раз в день работает до седьмого пота. Потом контрастный душ и быстрое обтирание. Вся дрянь выходит из его пор, а курит он только после победы, когда я сам протягиваю ему сигару. Как-то в «Пост» Тед Рикард написал, что перед боем с Уиллардом<sup>89</sup> в Огайо, тогда в тени было около сорока градусов, Демпси<sup>90</sup> был так хорошо подготовлен, что, вздремнув незадолго до схватки в нижнем белье, даже не вспотел, и белье осталось таким же свежим. Ребята, я хочу сказать – это же прекрасно! Вот один из путей, чтобы состояться в жизни. Так что прислушайтесь к моему совету и не балуйте руками. Это очень важно. Пусть они не лезут куда не надо. Даже если не станете спортсменами, а лучше жребия не бывает, даже если у вас другие цели, это плохой путь. Итак, рукам воли не давайте, от этого слабеют мозги. И не теряйте голову от подружек – ни вам, ни им это не принесет добра. Послушайте меня: я не хожу вокруг да около, а говорю все как есть, потому что не люблю намеков и обмана. На улицах шляется много потаскушек – обходите их стороной. Если появилось желание встречаться с хорошей девушкой – пожалуйста, почему бы и нет? На свете есть и порядочные барышни, которые никогда не полезут тебе в ширинку и не позволят щупать

---

<sup>89</sup> *Джесс Уиллард* (1883–1968) – профессиональный боксер, чемпион мира в тяжелом весе (1915).

<sup>90</sup> *Уильям Харрисон Демпси* (1895–1983) – боксер, чемпион мира в тяжелом весе (1919–1925).

себя до часу ночи на лестнице...

И так далее и тому подобное, глядя с неподдельной искренностью в глаза сидящих на складных стульях членов клуба.

Роль тренера идеально подходила Дингбату. Именно это ему и требовалось – произносить речи (его брат с успехом проделывал то же самое на официальных церемониях и банкетах), вытаскивать Нейлза по утрам из постели на пробежку в парке, добиваться своего лестью, тренировать, гоготать, хвастаться и подвергать сомнению оборудование в Трафтонском гимнастическом зале; он всегда гневно отстаивал свои права на площадку, подвесную грушу во время тренировок, когда лоснящиеся от масел тела сцепляются в ложном захвате в полутемных залах, где работают поляки, итальянцы, негры, мускулистые, потные, а рядом находятся их нарядные хозяева и любители прибыли. После того как Дингбат привел Нейлза в хорошую форму, они сели в автобус и на позаимствованные у Эйнхорна деньги отправились на восток, но уже из Солт-Лейк-Сити, оставшись без цента в кармане, прислали отчаянную телеграмму и вернулись домой изголодавшиеся, но полные достоинства. Нейлз выиграл два матча из шести, и в бильярдной из-за насмешек им было лучше не показываться.

На какое-то время Дингбат завязал с боксом; тогда случился массовый побег заключенных из тюрьмы в Джолиет, и он по призыву губернатора записался капралом в Наци-

ональную гвардию. Он производил неизгладимое впечатление в военной форме и походной шляпе с окантовкой, но не скрывал, что не хотел бы оказаться в патруле, который станет арестовывать Томми О'Коннора, Ларри Авиатора или Бигсби Гонсалеса, которыми восхищался.

– Заберись в канаву и затаись, кретин, – сказал ему Эйнхорн. – Только национальные гвардейцы окружают их раньше, чем ты улизнешь, и худшее, что тебя ждет, – бобы на обед в тюрьме.

Председатель, чувствовавший себя последнее время не лучшим образом, крикнул с кровати:

– Подойди ко мне перед дорогой, Чарли Чаплин! – А когда Дингбат приблизился в бесформенных бриджах, отчего ноги казались кривыми, развеселился: – Идиот!

Дингбат же застыл на месте, сраженный таким непониманием. Военная форма столь напугала миссис Эйнхорн, что она заплакала, повиснув на шее Лолли Фьютер. Несколько дней Дингбат провел под дождем в лагере под Джолиетом, откуда вернулся похудевший, грязный, измученный; его сердитый взгляд свидетельствовал о страшной усталости. Однако он тут же переключился на Нейлза и договорился о матче в Маскигоне, штат Мичиган. Эйнхорн отправил меня с Дингбатом и Нейджелом проследить, как пойдут у них дела. Он сказал:

– Оги, у тебя есть отпускные дни. Если твой дружок Клейн, которому я не очень-то доверяю, подменит тебя на

пару деньков, поезжай и немного встряхнись. Может, твоя поддержка прибавит Нейджелу уверенности. Дингбат с ним слишком строг, и это его нервирует. Возможно, третий доброжелательный человек – *sursum corda*<sup>91</sup>. Как у тебя с латынью, малыш?

Эйнхорн был в восторге от своей идеи; если его желание способствовало доброму делу, он искренне радовался. Обратившись к отцу, он попросил:

– Отец, дай Оги десять баксов. Тот отправится по моей просьбе в небольшое путешествие.

Так он показывал, что на пути его щедрого предложения есть небольшое препятствие. Доброжелательный председатель с удовольствием предоставил нужную сумму – он легко расставался с деньгами.

Дингбат обрадовался, что я тоже еду, и произнес перед всеми следующие слова, демонстрирующие врожденное высокомерие, проявлявшееся каждый раз, когда он стоял во главе чего-либо:

– Будьте спокойны, парни, в этот раз мы добьемся успеха...

Бедняга Нейлз, он выглядел неважно в темно-бордовой куртке клуба «Осы», сидевшей на нем мешком, с сумкой, тяжелой, как ящик паяльщика, свисавшей чуть ли не до пят его огромных кривых ног. Широкое лицо походило на выжженную солнцем потрескавшуюся землю. А на этой пори-

---

<sup>91</sup> Вознесем сердца! (*лат.*)

стой поверхности – светлые глаза, со страхом ждущие худшего, и сломанный в драке нос.

Но самое ужасное в этот день случилось с другим человеком, с одним из братьев Айелло, которого застрелили в спортивном автомобиле. Об этом был целый разворот в «Ик-эминер»; мы читали публикацию в трамвае, идущем к пирсу, и Нейлз сказал, что как-то играл с этим Айелло в софтбол<sup>92</sup>. Он очень расстроился. Только-только рассвело, улицы с обветшавшими домами были пустынные, солнце озарило своим светом лишь крыши строений. Пройдя по пирсу, мы взошли на палубу «Города Согатука» и отчалили, и внезапно городской сумрак сменился сверканием зябкой голубизны, темный берег отступил, отдав нас во власть золотого восхода. Покрашенные свинцовыми белилами палубы были тщательно отдраены и переливались теплыми цветами, присущими водам Мексиканского залива; чайки парили над нами в воздушных потоках. Дингбат наконец-то чувствовал себя счастливым. Он заставил Нейлза тренироваться на палубе, пока на нее не высыпал народ. Восемь часов без тренировки – и тот утратит форму, необходимую для вечернего боя. Улыбаясь, Нейлз приступил к утренней пробежке; блики стремительной воды, чайки, отвесно падающие на палубу за хлебным крошечком, сделали его другим человеком. Он с воодушевлением провел несколько прямых ударов – технично и мощно; Дингбат в форме – полосатой, как ножка саран-

---

<sup>92</sup> *Софтбол* – разновидность бейсбола.

чи, – советовал ему активнее выдвигать плечо. Уверенные, что плывут к победе, они пошли пить кофе в салон, усталый розовым ковром. Я остался на палубе, радуясь солнцу, ярким краскам, и вдыхал запах сена, доносившийся из люка, где стояли лошади бродячего цирка; ослепительная голубизна и тепло наполняли счастьем, легкий ветерок овеивал меня до самых ног, обутых в весьма потрепанные спортивные туфли большого размера, с выведенным тушью фирменным знаком, раздувал джинсы и мягко вздымал волосы.

Мы двигались в теплой воде и были уже на приличном расстоянии от порта, когда Дингбат вышел на палубу в обществе двух молодых женщин, Изабеллы и Дженис, встреченных им на пароходе; обе в белых теннисках, перехваченные лентами волосы убраны наверх; у девушек начались каникулы, и они хотели попрыгать на теннисном корте Сога-тука и понежить свои очаровательные грудки в тихих прибрежных водах. Прощаясь, Дингбат приподнял шляпу, позволив тем самым густым волосам проветриться и погреться на солнышке; что может быть лучше для молодого, терпимого к человеческим слабостям тренера по боксу, чем утренняя прогулка в белых туфлях и по-яхтсменски закатанных штанах в сопровождении юных девушек? Нейлз остался в салоне, пытаясь завоевать приз в игровом автомате под названием «Клешня», – там приспособлением, похожим на клещи, можно было извлечь из стеклянного контейнера фотоаппарат, авторучку, электрический фонарь, умело внедрен-

ные в горку из дешевых леденцов. Удовольствие стоило пять центов. Нейлз истратил пятьдесят – ему хотелось заполучить фотоаппарат для маменьки, но вытащил только немного сладкой тянучки.

Этой тянучкой он поделился со мной и пожаловался, что от усилий у него заболели глаза и закружилась голова, хотя на самом деле такое состояние вызвало движение парохода и ритмичный плеск рассекаемой воды; когда же мы подходили к мичиганскому берегу и уже слышали доносящийся с пристани шум, он повернулся ко мне осунувшийся и бледный как смерть. Нейлза вырвало, и пока его рвало, Дингбат поддерживал своего «мальчика» – он прошел с ним все круги ада – и молил с плохо скрытой досадой:

– Держись, парень, держись, ради всего святого!

Но Нейлза продолжало выворачивать, грудь его вздымалась, волосы прилипли к похолодевшему лицу, а глаза молили о скорейшем возвращении на твердую землю. В Согатукке мы не решились сказать ему, что до Маскигона еще несколько часов ходу. Дингбат отвел его вниз в каюту и уложил отдыхать. Нейлз мало где чувствовал себя в безопасности.

В Маскигоне мы вывели его, ослабевшего, с пожелтевшим лицом, на дощатую пристань; народу там было немного, и нам не удалось скрыть состояние Нейлза от расположившихся неподалеку рыбаков. Мы пошли в ближайшую гостиницу Молодежной христианской организации, где помыли и почистили его, накормили ростбифом и уже потом повезли в

гимнастический зал. И хотя он жаловался на головную боль и все время порывался лечь, Дингбат упорно твердил:

– Если я пойду у тебя на поводу, ты ляжешь, будешь жалеть себя и вечером не сможешь хорошо драться. Я лучше знаю, что тебе надо. Сейчас Оги купит аспирин. Выпьешь его и больше ничего в рот не возьмешь.

Когда я принес аспирин, Нейлз, пробежавший десять кругов в закрытом, душном зале, сидел, бледный и измученный, под баскетбольным кольцом, а Дингбат растирал ему грудь и, как мог, старался влить в него уверенность, отчего тот страдал еще больше: он привык к угрозам.

– Парень, куда подевалась твоя воля, где твои внутренние резервы?

Все было бесполезно. Примерно час спустя, когда солнце клонилось к закату, мы сидели в сквере; от идущего из порта запаха свежей воды Нейлза подташнивало – он согнулся и опустил голову.

– Что ж, пойдем, – сказал наконец Дингбат. – Будь что будет.

Матч состоялся в клубе «Лайонз». Нейлз выступал во второй паре против боксера, которого называли Князь Яворски, сверловщика с завода в Брансуике; весь зал болел за него – ведь Нейлз еле передвигал ноги, все время закрывался или входил в клинч; яркий холодный свет ринга обнажал страх на его лице, порожденный множеством орущих изо всех сил людей. Яворски преследовал его, нанося серии стремитель-

ных ударов. Он превосходил беднягу Нейлза ростом, да и руки имел более длинные, и, как я прикинул, был моложе лет на пять. Шиканье и освистывание его подопечного привели Дингбата в ярость, и в перерыве он стал орать на боксера:

– Если ты не поколотишь его в этом раунде, я брошу тебя здесь и уйду.

– Я ведь говорил, что надо ехать на поезде, но ты пожалел четыре бакса, – ответил Нейлз.

Однако, подстегнутый неодобрением в свой адрес, переменился в лице и второй раунд провел с большей отдачей – отважно бил Яворски почти безжизненными руками с накачанными мускулами. Но в третьем раунде, получив мощный удар в живот, он рухнул; рефери отсчитывал секунды под рев зала, в котором слышались обвинения в нечестном поведении и договорном матче; Дингбат, перегнувшись через канат, бил шляпой судью, а тот прикрывал руками голову. Согнувшись пополам, Нейлз сошел с ринга, в ярком электрическом свете глаза его казались мертвыми, мокрые баки выделялись на окаменевшем пористом лице. Я помог ему одеться и отвез в гостиницу МХА, где уложил в постель и накрепко запер за собой дверь; после этого дождался на улице Дингбата – хотел проследить, чтобы тот не пытался ворваться в свою комнату. Но Дингбат был слишком удручен для этого. Мы с ним немного прошлись, купили в уличной палатке жареной картошки и вернулись в гостиницу.

На следующее утро Дингбат, порывшись в кошельке, об-

наружил, что деньги кончились, и нам пришлось продать обратные билеты, чтобы расплатиться за постой. До Чикаго мы добирались автостопом; одну ночь провели на пляже в Харберте, неподалеку от Сент-Джо. Нейлз закутался в халат, а мы с Дингбатом прикрылись одним плащом. На следующий день на трейлере из Флинта мы проехали мимо городов Гэри и Хаммонд, мимо доков, мимо угольных и серных разработок – в полуденном воздухе плясали искорки, возникающие не от огня, а от тепла; тут же рядом паслись большие черные коровы Пасифаи<sup>93</sup> и какие-то крупные животные бродили сами по себе, поднимая красноватую пыль, – еще одна составная часть огромного индустриального полотна; иногда у дороги валялся старый бойлер или росли пыльные камыши, где мечут икру лягушки. Если вам приходилось видеть зимний Лондон в те страшные минуты, когда темнота сгущается над рекой, или в декабрьскую непогоду, дрожа от холода, спускаться с Альп в Турин, вы можете представить необычность этого места. Тридцать миль по перегруженной, заляпанной нефтяными пятнами дороге, где в доменных печах, этих искусственных вулканах, изготавливали из частиц божественного Эмпедокла<sup>94</sup> чугун, стальные балки и рельсы; еще десять по разбросанным вдоль обочин городишкам; еще пять – ми-

---

<sup>93</sup> Критская царица Пасифая влюбилась в быка; от их союза родился Минотавр – получеловек-полубык.

<sup>94</sup> *Эмпедокл* – древнегреческий философ, ученый, врач, политик. Желая доказать божественность своего происхождения, прыгнул в вулкан Этна.

мо редких многоквартирных домов; мы покинули трейлер в районе Лупа и пошли к Томпсону поесть тушеного мяса и спагетти, там еще рядом детективное агентство и витрина с кинопостерами.

Наше возвращение не вызвало большого интереса – пока мы отсутствовали, в доме Эйнхорна случился пожар. Особенно пострадала гостиная – зияющие, источающие неприятный запах черные дыры в ангорской шерсти, погибший восточный ковер и библиотечный столик красного дерева, с комплектом «Классики Гарварда», вконец испорченным пеной от огнетушителей. Эйнхорн выдвинул иск, потребовав две тысячи долларов на возмещение убытков, но контролер не усмотрел в причине возгорания короткое замыкание и намекнул, что пожар был подстроен, и кое-кто даже слышал, как хозяин рассчитывал получить деньги. Бавацки отсутствовал, пришлось взять на себя часть его обязанностей; у меня хватило ума о нем не расспрашивать – я понимал, что он скрывается. В день пожара Тилли Эйнхорн навещала свою кухню, а Джимми Клейн возил старого председателя в парк. Председатель выглядел рассерженным. Его спальня была в стороне от гостиной, где запах держался несколько недель, и он лежал там, насупив брови, и осуждал ведение сыном бизнеса. Тилли тоже требовала новые покои, так что пришлось пойти ей навстречу – ах эти помешанные на семейном уюте и роскошной мебели женщины!

– Может, дать тебе пятьсот – шестьсот долларов, которые

ты и так возьмешь из кассы компании, – сказал председатель сыну, – тогда по крайней мере я не буду дышать этим ipisch<sup>95</sup> свои последние дни? Уилли, ты ведь знаешь, я болен.

Так оно и было. Эйнхорн – носатый, седой и серьезный – принял этот заслуженный упрек по-сыновьи почтительно, а председатель тем временем встал с постели в накинutom по-верх длинной ночной рубашки, доходившем до полу парчовом халате; покачиваясь, он стоял в кухне и все же не опирался на стул, что было бы только естественно, но он и тут предпочитал сохранять независимость.

– Да, отец, – ответил Эйнхорн; сознание вины за плохо исполненную работу сдавило ему горло, он взглянул на меня без тени юмора, напряженно и почти яростно.

Тогда я отчетливо понял, что пожар – дело его рук, и скорее всего он считает, будто я пытаюсь докопаться до всех его секретов. Дальше меня дело бы не пошло, но его гордость была уязвлена сознанием, что я все знаю. Я старался быть как можно незаметнее и не напоминал ему, что он забыл уплатить мне месячное жалованье. Возможно, то была излишняя деликатность, но не будем забывать о юношеском максимализме.

Прошло лето, возобновились занятия в школах, а страховая компания все еще не пришла к окончательному выводу. Клем говорил мне, что Эйнхорн обратился к старшему Тамбоу с просьбой найти через кого-нибудь в мэрии путь к ви-

---

<sup>95</sup> Дерьмом (*идиши*).

це-президенту компании; да я и сам знал, что он отправил ему несколько писем, жалуясь на крупных специалистов, не способных разобраться в небольшом возгорании. Каким образом в таком случае ему удастся убедить клиентов, что их потери будут быстро возмещены? Как вы догадываетесь, он застраховался в компании, которая вела и его бизнес. «Холлоуэй энтерпрайзис» выплачивала одних страховых премий на четверть миллиона долларов, так что факт поджога был, вероятно, слишком очевиден, иначе компания не пошла бы на подобные осложнения. Обуглившаяся мебель, прикрытая парусиной, стояла в доме, пока это не надоело председателю; вещи вынесли во двор, где детвора играла на них в «Царя Горы», а местные старьевщики предлагали забрать ее, униженно околачиваясь возле конторы, и тогда Эйнхорн решительно сказал им «нет»: когда его требование будет удовлетворено, он передаст мебель Армии спасения.

На самом деле он уже обещал продать ее Крейндлу для реставрации. Эйнхорн намеревался получить за мебель хорошую цену. В том числе и из-за презрительного отношения председателя. Хотя в целом он считал, что поступил правильно: надо же было исполнить мечту жены о новой гостиной. Мне он подарил «Классику Гарварда», обложки книг изрядно подпортил раствор углерода. Я сложил их в корзину и запихнул дома под кровать. Чтение я начал с Плутарха, писем Лютера и «Путешествия на “Бигле”»<sup>96</sup> – в последней

---

<sup>96</sup> «Путешествие на “Бигле”» – путевые заметки английского естествоиспытателя

дошел до того места, где крабы воруют яйца у глупых птах.

Дальше читать я не мог: никак не удавалось сосредоточиться по вечерам. Наша старая дама совсем распустилась, с ней стало очень трудно, к тому же она ослабла от преклонного возраста. Хотя она всегда утверждала, что научила Маму всему, но, видимо, хорошая кухарка из той не получилась и теперь старушенция сама себе готовила, завела собственные кастрюли и сковородки, бакалейные товары, ставила в холодильник маленькие баночки, покрытые бумагой и затянутые резинками, и забывала о них, пока те не зарастали плесенью, затем выбрасывала, а позднее обвиняла Маму в их краже.

– Двум женщинам тесно на одной кухне, – говорила она (забыв, как долго это продолжалось), – особенно если одна грязнуля и нахалка.

Обеих трясло. Маму – больше от страха, чем от несправедливости; она старалась рассмотреть старуху, но ее зрение все ухудшалось. Со мной и Саймоном Бабуля почти не разговаривала, и когда щенок, подаренный ей сыном Стивом, – в душе она не смогла принять замену Винни, но тем не менее требовала собаку, – бежал к нам, она кричала:

– *Beich du! Beich!*<sup>97</sup>

Но рыженькой маленькой сучке хотелось играть, а не лежать у ее ног, как старой собаке. Ей даже не дали кличку и не приучали к прогулке – это тоже говорит о состоянии, в

---

теля Чарлза Роберта Дарвина (1809–1882).

<sup>97</sup> Малыш, сюда! (*идши*)

котором пребывали наши женщины. Мы с Саймоном согласились убирать по очереди – Мама с этим уже не справлялась, – но Саймон работал в центре и о справедливом распределении обязанностей речи не было. Дом настолько вырос, что никто не позаботился дать щенку кличку и его воспитывать. Я мог ползать с тряпкой под кроватью Бабушки Лош, в одном из наигрязнейших мест в доме, в то время как она, уткнувшись в книжку, не говорила ни слова и даже не замечала меня, если только ее беич не хватал меня с лаем за рукава, и тогда издавала пронзительный визг. На это у меня уходило много времени.

К тому же Мама из-за плохого зрения не могла одна навещать Джорджи, и нам приходилось каждый раз сопровождать ее на западную окраину города. Джорджи уже перерос меня и держался с нами иногда весьма грубо, но глуповатое лицо было по-прежнему миловидным. Он казался великаном в коротких штанишках, его тяжелое тело нелепо передвигалось на недоразвитых ногах. Он носил наши с Саймоном обноски, и было странно видеть, как по-разному сидят на людях одни и те же вещи. В школе его научили вязать веники и ткать, а еще показали нам изготовленные им шерстяные галстуки с узором из чертополоха. Но Джорджи становится слишком большим, примерно через год его переведут из приюта в «Мантено» или еще какое-нибудь заведение штата. Мама грустит по этому поводу.

– Ну, раз или два в год мы все-таки сможем его наве-

щать? – спрашивала она.

Мне тоже нелегко видеть оплывшее лицо Джорджи, поэтому, когда у меня водились денежки, я после таких поездок завлекал Маму в симпатичный греческий ресторанчик на Кроуфорд-авеню поесть пирожков и мороженого, чтобы хоть ненадолго вытащить ее из мрачной пучины отчаяния, где, по моему разумению, пребывает большая часть человечества, оставшись в одиночестве. Она не отказывалась от приглашения, хотя цены приводили ее в ужас и она громко возмущалась, не догадываясь, что ее слышат. На это я спокойно отвечал:

– Все в порядке, Мама. Ни о чем не волнуйся.

Мы с Саймоном все еще учились, и нам по-прежнему оказывали благотворительную помощь, а поскольку мы оба работали, да еще Джорджи находился в приюте, с деньгами у нас было лучше обычного. Только теперь администрация сменилась и финансами заправляла не Бабуля, а Саймон.

Иногда в освещенном конце темного коридора я мельком видел силуэт Бабули, которая отделилась от нас и теперь сама топталась у плиты в крашенных шароварах и накрахмаленной блузке с оборками – такими же жесткими, как евклидова линия. У нее накопилось на нас много обид – их нельзя было ни простить, ни даже обсуждать. Последнее – по причине старческого слабоумия. А ведь мы всегда считали ее такой могущественной, такой сильной.

Саймон сказал:

– Она еле тянет. – И мы смирились с ее постепенным угасанием.

Но ведь мы уже вышли в большой мир, а Маме это не светило. Мама воспринимала Бабулю как хозяйку, лидера, королеву-мать, императрицу; даже то, что она предала Джорджи, выставив того из дома, и кухонные скандалы – свидетельства старческого слабоумия – не смогли поколебать ее уважения к старухе и укоренившейся зависимости. Мама со слезами рассказывала нам с Саймоном о странных переменах в поведении жилицы, но не могла приспособиться к ее причудам.

– Маме приходится тяжело, – сказал Саймон. – Почему Лоши повесили ее на нас, а сами свалили? Мама слишком долго была у нее в служанках. А ведь она тоже не молодеет, глаза совсем плохие – она даже дворняжку у своих ног не видит.

– Ну, здесь должна решать сама Мама.

– Боже, Оги! – взорвался Саймон; пренебрежительная усмешка еще больше обнажила его сломанный зуб. – Нельзя же быть таким идиотом! А то я подумаю, что только мне в этой семье достались мозги. Какой смысл предоставлять решение Маме?

Когда дело касается Мамы – теоретически или реально, – я не знаю, что делать. Относимся мы к ней одинаково, но оцениваем по-разному. Должен сказать, Мама не привыкла быть одна, и при мысли об этом мне становится не по се-

бе. Она почти ослепла. Что ей делать, сидя в полном одиночестве? Друзей у нее нет; соседи, видя, как она шаркает туда-сюда в мужских ботинках, черном берете и очках с толстыми стеклами на худом светлом лице, думают, что у нее не все дома.

– Ну уж Бабуля ей не компания, – возражает Саймон.

– Иногда-то они проводят время вместе. Думаю, порой и словечком перемолвятся.

– Когда это было? Да старуха только ругает ее, а она плачет. По-твоему, нужно пустить все на самотек? Это от лени, хотя ты, возможно, считаешь себя просто добродушным парнем, не желающим быть неблагодарным к старой женщине, сделавшей нам немало хорошего. Но не забывай, мы тоже в долгу не остались. Она многие годы командовала Мамой и сидела на нашей шее. С Мамы всего этого достаточно. Если Лоши согласны нанять домработницу, флаг им в руки, а если нет – пусть забирают ее отсюда.

Саймон написал письмо ее сыну – тому, который жил в Расине. Не знаю, как обстояли дела у этих двух мужчин, пользующихся покровительством квакеров и обитающих в респектабельных городах. Находясь в месте, подобном Расину, при виде дома, откуда доносились ученические звуки игры на фортепьяно, и качелей, установленных на резиновой шине, я всегда думал, что такой же дом есть у Стивы Лоша, отца двух дочерей, которых воспитывают как маленьких леди, в том числе учат музыке; думал и о том, как много доби-

лись одесские дети Бабули, плохо говорящие на английском. К чему они – такие правильные и невозмутимые – стремились? Кое-что становилось ясно из письма, посланного Стивой, в котором тот спокойно и обстоятельно писал, что они с братом не считают домработницу решением проблемы и сейчас ведут переговоры с Нельсонским домом для престарелых, чтобы определить мать туда. Они будут признательны, если мы организуем переезд. Учитывая наше долгое совместное проживание (намек на неблагодарность с нашей стороны), просьба не кажется им слишком обременительной.

– Вот все и решилось, – сказал Саймон, но его вид говорил, что мы слишком далеко зашли. Однако дело было сделано, остались лишь кое-какие детали.

Тогда же Бабуля получила письмо на русском языке, она взяла его с холодным достоинством, как будто оно пришло от значимой персоны, родством с которой можно похвастать.

– Ба! Как хорошо Стива пишет по-русски! Да, в гимназии умели учить. От Мамы мы узнали, что Бабуля называет дом прекрасным старинным местом, дворцом, построенным миллионером, с садом и оранжереей; по ее словам, он расположен рядом с университетом и потому его основные клиенты – ушедшие на пенсию профессора. Отличное место. Она так рада, что сыновья избавляют ее от нас, – там она будет среди равных, сможет вести интеллектуальные беседы. Мама смутилась, ее сбили с толку эти события, – даже она не была настолько наивна, чтобы поверить словам Бабули, так много

лет жившей рядом с нами, будто та сама хочет разъехаться.

Почти две недели укладывали вещи. Снимали со стен картины, обезьян с красными ноздрями, скатывали ковровую дорожку из Ташкента, собирали рюмки для яиц, бальзамы и лекарства и теплое стеганое одеяло из шкафа. Я принес из сарая деревянный дорожный сундук – желтого ветерана с наклейками Ялтинского пароходства, Гамбургской железной дороги, «Американ экспресс», принес также старые русские журналы с вложенными меж страниц засохшими синими лесными цветами – от всего пахло погребом. Бабуля бережно завернула в бумагу каждую ценную для нее вещь; то, что могло разбиться, положила наверх, и все густо пересыпала средством от моли. В день отъезда она не спускала властного взора с грузчика, несшего на плечах вниз по лестнице пресловутый сундук; ужасно бледная – так что обозначились волоски в уголках рта, – с перекошенным лицом, она приглядывала за всем вплоть до самой незначительной коробочки и при этом держалась аристократически прямо, смело готовясь к важному переходу в лучшее будущее из этой (откуда она теперь уезжала) постыдно убогой квартиры, где оставалась брошенная женщина с сыновьями, которых она опекала, будучи временной гостьей. Да, несмотря на изношенность внешней оболочки, она была великолепна. Забылись ее вздорность и приступы сумасшествия последнего года. Разве можно было об этом помнить, когда она в нужный момент тут же обрела разум и снова стала волевой и взыска-

тельной, как в былое время? Сердце мое потеплело, я вновь чувствовал восхищение, чего ей совсем не требовалось. Да, изгнание она представила как отход от дел, и новоизбранные руководители – печать еще не высохла на новой Конституции – почувствовали напоследок прилив жалости к низверженным; толпа молча проводила взглядами отъезжавший лимузин, и правитель вместе со свитой исчез из полной ошибок истории человечества.

– Не болей, Ребекка, – сказала Бабуля, не сопротивляясь мокрому от слез поцелуям Мамы, скованная старческой немощью. Мы усадили Бабулю в позаимствованный у Эйнхорна автомобиль. Последние слова прощания она произнесла раздраженно и нетерпеливо, и мы отъехали – я с трудом управлял большой и неудобной машиной цвета раздавленного помидора. Дингбат только что научил меня водить.

Ехали мы молча. Слова, сказанные ею в пробке на Мичиганском бульваре, я не принимаю во внимание, поскольку они относились к движению транспорта. После Вашингтонского парка мы повернули на восток и выехали на Шестую улицу – там и правда располагался университет; мирный шепелест плюща в золотую осеннюю пору действовал успокаивающе. Я нашел Гринвуд-авеню и дом для престарелых. Остроконечный забор перед ним окружал небольшой – четыре на четыре – палисадник, на клумбах росли астры, их стебли удерживались подпорками, а старики и старухи, сидя на почерневших скамьях вдоль боковой тропы, и на известня-

ковом крыльце, на стульях под навесом (для тех, кто боится солнца) и в холле, внимательно следили, как Бабуля вылезает из машины. Мы двинулись вперед, мимо тихих, задумчивых, побитых жизнью людей со старческими пятнами, лысыми костлявыми черепами и вздувшимися сухожилиями на не знающих воротничков шеях, обожженных канзасской жарой, холодами Вайоминга, домашним трудом, работой на рудниках Дикого Запада, розничной торговлей в Цинциннати, забоем скота в Омахе или уборкой урожая – разного рода деятельностью, от масштабной до самой незначительной, складывающейся в труд нации. Но даже здесь кто-то – в поношенных тапочках и подтяжках или в корсете и ситцевом халате – мог оказаться солью земли, однако надо быть Оригеном<sup>98</sup>, чтобы отыскать его среди ужасающего зрелища седых голов и веснушчатых, со вздувшимися венами рук, держащих трости, веера и газеты на разных языках; у всех этих людей, сидящих на солнышке во дворе, где жгли опавшую листву, или в доме, пропитанном запахами плесневелой еды и подгорелого соуса, был отсутствующий взгляд, говорящий о полной погруженности в себя. Богадельня – отнюдь не бывшая резиденция миллионера – являлась в свое время обычным многоквартирным домом, никакого очаровательного садика не было и в помине – только кукуруза и

---

<sup>98</sup> *Ориген* (185–254) – христианский теолог, философ. Оказал большое влияние на формирование христианской догматики и мистики. За отклонение от ортодоксального христианского предания был осужден впоследствии (543 г.) как еретик.

подсолнухи.

Подъехал грузовик с остальными вещами; сундук вносить в комнату Бабуле не разрешили – там жили еще три старухи. Ей пришлось спуститься в цокольный этаж и вытащить самые необходимые вещи – по мнению тучной смуглой надзирательницы, их и так было слишком много. Я перенес пожитки наверх, помог ей разложить их и развесить. Потом по просьбе Бабули спустился вниз и хорошенько осмотрел «стац» – не забыли ли чего? Ее новое жилище мы не обсуждали, но, будь что хвалить, она бы не упустила шанс показать, насколько улучшилось ее положение. Но и свое разочарование она от меня скрыла. Оставив без внимания предложение надзирательницы надеть домашний наряд и сесть в кресло-качалку, откуда были видны кукуруза, подсолнухи и капуста, Бабуля осталась в черном одесском платье. Я предложил ей сигарету, но она не хотела одалживаться – тем более брать что-то у меня, помня, чем мы с Саймоном отплатили ей за многолетнюю заботу. Я понимал, что она изо всех сил старается быть жесткой, чтобы не расплакаться. Наверное, она даст волю слезам, как только я уйду: не настолько она впала в маразм, чтобы не понимать, как обошлись с ней сыновья.

– Надо вернуть машину, Ба, – сказал я наконец. – Так что я пойду, если тебе ничего больше не нужно.

– Что еще? Ничего.

Я направился к выходу.

– Ситцевую сумку для обуви, – проговорила она. – Я забыла ее в шкафчике.

– Я принесу на днях.

– Оставь Маме. И вот тебе, Оги, за труды.

Она открыла кошелек, сплетенный из тусклых серебряных нитей, и быстро сунула мне двадцать пять центов – откупные, – от которых я не посмел отказаться, но и убрать в карман тоже не мог, просто сжал монету в кулаке.

У Эйнхорнов тоже творилось что-то странное; председатель умирал в большой задней комнате, а в передней части дома, где располагался офис, с необыкновенной быстротой проходила передача прав собственности. Несколько раз в день Эйнхорн сам ездил к постели отца, чтобы получить совет или информацию; теперь все серьезные, требующие пристального внимания дела находились в его ведении, и он чувствовал, насколько трудно контролировать то, что отныне легло на его плечи, а прежний праздный щебет в конторе теперь вызывал представление о пустыне. Стало ясно, от сколь многого оберегал его отец. Ведь он рано превратился в инвалида. Перед женитьбой или после нее – я так и не смог выяснить – Эйнхорн говорил «после», но я не раз слышал, что председатель заплатил Карасу Холлоуэю, кузену миссис Эйнхорн, и так купил невесту сыну-паралитику. То, что она любила Эйнхорна, не противоречило этому слуху: для нее было естественно обожать мужа. В общем, несмотря на самонадеянность Эйнхорна, он жил под защитой отца. Я тоже

успел это заметить. Его жульнические письма и проделки, его поэтические наброски были мальчишескими забавами, хотя его сын учился в университете. И как было теперь ему, опекаемому до зрелых лет, справиться со всем тем, что на него обрушилось? Только став серьезным и энергичным, решил он. Эйнхорн забросил старые проекты, не печатал «Отгороженного от мира», не вскрывал для ознакомления пакеты – их я уносил в кладовку вместе с буклетами и прочими дарами почты; его целиком поглотил бизнес, он постоянно сверялся с ежедневником председателя, завязывал или разрывал деловые контакты по земельным участкам или магазинам на окраинах и – уже от себя лично – делал то, что ему нравилось: покупал по дешевке вторые закладные у людей, срочно нуждавшихся в деньгах. Он требовал у подрядчиков немедленной уплаты денег за канализацию, отопление и малярные работы – и те, с кем дружил председатель, становились его врагами. Последнее не слишком беспокоило Эйнхорна, он был глубоко убежден, что лентяи не должны следовать за Шарлеманем<sup>99</sup>. Более того, чем больше возникало трудностей и препятствий, тем уверенней он себя чувствовал. По поводу расторгнутых соглашений возникали споры; он не оплачивал счета до последнего льготного дня, и большинство мирились с этим только ради председателя. Эйнхорн очень жестко вел дела.

---

<sup>99</sup> Так во Франции называют Карла Великого (742–814), короля франков.

– Я могу спорить целый день, что раннер<sup>100</sup> не добежал до базы, – говорил он, – хотя прекрасно знаю, что он там был. Главное – показать, что вы от своих слов не откажетесь.

Вот так, между делом, хотя спокойных минут оставалось все меньше, он излагал мне теорию могущества, правда, в основном адресовал эти уроки самому себе, объясняя, что именно он делает и почему это правильно.

Тогда же обострились все его желания, ему хотелось того, на что он раньше не обращал внимания, – например кофе определенного сорта, который продавался только в одном месте, и еще он заказал несколько бутылок контрабандного рома у Крейндла (дополнительный заработок последнего); тот привез ром в соломенной сумке из Южного района, где у него были связи – собственные или через посредников – с опасными, криминальными элементами. Крейндл интуитивно доставал людям именно то, чего они хотели, – дворецкого, лакея, рабочую силу, Лепорелло<sup>101</sup> или сводника. Он не бросил эту привычку после Пятижильного. И сейчас, когда председатель умирал, а богатый наследник Дингбат все еще оставался холостым, Крейндл постоянно околачивался в доме Эйнхорнов – сидел у постели председателя, болтал с Дингбатом, вел продолжительные разговоры наедине с Эйнхорном, который пользовался его услугами.

Они часто говорили о Лолли Фьютер – та уволилась в сен-

---

<sup>100</sup> Игрок в бейсболе, который должен обежать базы.

<sup>101</sup> Угодливый слуга (*иноск.*), напоминающий Лепорелло, слугу Дон Жуана.

тябре и теперь работала в центре города. Когда она еще была в доме, Эйнхорн почти ее не замечал: тяжело болел отец, стало больше работы – не то что праздным летом. И в квартире, и в офисе все время толклись люди. Но теперь его вдруг страстно потянуло к женщине – он постоянно писал ей, посылал сообщения с курьером, а ее имя не сходило у него с языка. И в такое время! Мысль об этом доставляла ему боль. И все же, несмотря на неподходящий момент, он думал, что сможет с ней встретиться, и не просто думал, а упрямо обсуждал, как это лучше сделать. Я слышал его разговор об этом с Крейндлом. И одновременно он был главой семьи, лидером, руководителем и ответственным опекуном, необыкновенным сыном необыкновенного отца. Чертовски необыкновенным. Даже в том, как он вскидывал брови к седеющим волосам, тоже было нечто необыкновенное. И что такого, если параллельно с этим набирали силу присущие ему пороки, страсти, даже похоть и неподобающая непристойность? Почему неподобающая? Только потому, что он калека? И если вы в ответ на этот трудный вопрос скажете, мол, не нам решать, от чего отказываться человеку, если он калека или в чем-то ущербен, то от факта, что Эйнхорн мог быть неприятным и злобным, все равно не отмахнешься. Людей характеризуют их страсти и то, как они причиняют боль другим. Думаю, тут есть шанс навредить и себе самому. Тогда надо смотреть, не грозит ли им в таких случаях опасность. Или они, как говорится, без тормозов. А Эйнхорн? Бог мой, ка-

ким он бывал обаятельным – само очарование. Это и сбивало с толку. Вы могли ворчать, называть это притворством, уловкой одаренных людей, желающих отвлечь вас от их вероломства и уродливой путаницы желаний, но коли игра талантлива и естественна, она заставляет забыть о ее источнике. И совсем убедительна, если еще и радостна, как порой бывало у Эйнхорна, когда он не просто чего-то добивался, но еще находился в прекрасном расположении духа. Он мог быть простодушен. И все же я нередко сердился на него и тогда говорил себе, что он ничего собой не представляет. Совсем ничего. Эгоистичный, завистливый, властный, злоязычный лицемер. Но всякий раз дело кончалось возвращением прежнего уважения. Нельзя забывать, что он вел постоянную борьбу с болезнью. Ничего не скажешь, «на льду в свирепой схватке разгромить поляков»<sup>102</sup> он бы не смог, подвиги Велисария<sup>103</sup> тоже были ему не по плечу, да и на поиски Грааля он бы не отправился, но, все взвесив, учтя его нынешнее положение и данное ему оружие, понимаешь, как он велик, а с помощью разума вообще достиг многого. Он знал: за интерес к жене и другим женщинам, когда отец лежит на смертном одре, духи могут покарать; нельзя в такое время думать о наслаждениях и вести себя подобно таракану – у него был талант к сравнениям. И он умел держаться ве-

---

<sup>102</sup> *Шекспир У.* Гамлет, акт 1, сцена 1 (пер. М. Лозинского).

<sup>103</sup> *Велисарий* (504–565) – византийский полководец; в 532 г. вступил в Карфаген и разгромил государство вандалов в Северной Африке.

личественно. Но величественность не просто случайный дар от рождения, как, например, бесцветные волосы альбиноса. Будь так, в этом отсутствовала бы изюминка. Нет, тут надо пережить самое худшее и найти нишу, где можно укрыться от сумасшедших; убийц; от грязных замыслов; от чиновников; ковбоев; развратителей детей; людоедов и распространившихся по всему свету всадников святого Иоанна<sup>104</sup>. Так что не стоит осуждать беднягу Эйнхорна с его высохшими ногами и эротическими желаниями калеки.

Как бы то ни было, я стоял рядом с ним, и он мне сказал: – Ну и сука! Просто дешевая веснушчатая потаскуха!

Однако продолжал слать ей записки через Крейндла с безумными предложениями. И в то же время говорил:

– Я свинья, что в такое время думаю об этой шлюшке. Как низко я пал!

Лолли отвечала на его записки, но не приходила. У нее были другие планы.

А тем временем председатель постепенно выпадал из жизни. Первое время друзья постоянно навещали его в некогда роскошной спальне с кроватью под пологом в стиле ампира, с зеркалами в позолоченных рамах и купидоном, натягивающим лук; спальню обставила его третья жена, бросившая мужа десять лет назад. Потом она стала комнатой старого бизнесмена – на полу плевательница, сигары на буфете, повсюду окурки, карты. Ему, казалось, доставляло удо-

---

<sup>104</sup> Аллюзия на «Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова».

вольствие говорить друзьям детства, приятелям по синагоге и бывшим партнерам, что с ним покончено. Но так случилось не всегда, он мог контролировать себя, вдруг начать шутить, у него было хорошее чувство юмора. Коблин приходил в воскресные дни, Пятижильный приезжал по будням в молочном фургоне – для молодого человека он был достаточно ортодоксален, уважителен во всяком случае. Не могу сказать, чтобы он очень сочувствовал больному, но его посещения были уже тем неплохи, что доказывали: он знает, где расположено сердце. Возможно, Пятижильный одобрял, как председатель принимает смерть – с подлинным стоицизмом. Владелец похоронного бюро Кинсмен, арендатор Эйнхорна, очень расстраивался, что не может навестить председателя; он остановил меня на улице, чтобы расспросить о его здоровье, и умолял не упоминать об этих расспросах.

– Самое худшее для меня время, – признался он. – Когда умирает кто-то из друзей, мое присутствие так же неприятно, как присутствие работающего на меня Грэнема. – Грэнем, немощный старик с испещренным морщинами лицом, совмещал работу сиделки и чтеца псалмов, он ходил в черном шерстяном одеянии и в тапочках на крошечных ступнях. – Если я приду, сам знаешь, что люди подумают, – сказал Кинсмен.

По мере того как больной приближался к роковому концу, к нему допускали все меньше посетителей, и разговоры, в которых особенно отчетливо слышались саркастические нот-

ки старика, прекратились. Теперь по большей части с ним оставался Дингбат, и Эйнхорну не пришлось для этого вынуждать его из бильярдной: Дингбат поступил так из любви к отцу. А ведь он никогда не разделял худших опасений врача и уверенно заявлял:

– Так говорят все эскулапы, когда заболевает пожилой человек. Председатель – крепкий орешек, он еще всем покажет!

А теперь он торопливо сновал туда-сюда, громко стуча каблуками любителя танго; он кормил и протирал председателя, гонял мальчишек, игравших на заднем дворе.

– Пошли вон отсюда, сорванцы! Здесь больной человек! Эй, сопляки! Кто-нибудь занимался вашим воспитанием?

В комнате больного он поддерживал полумрак, а сам, сидя на мягкой скамейке, читал при свете ночника «Ярость капитана», «Док Сэвидж» и прочие дешевые книжонки. В то время я только раз видел председателя на ногах – Эйнхорн послал меня в кабинет за бумагами, и по дороге я заметил в гостиной председателя в нижнем белье – тот медленно бродил в поисках миссис Эйнхорн, чтобы потребовать у нее объяснений, почему на белье только две пуговицы, а между ними голое тело.

– Никуда не годится! – повторял он. Кроме всего прочего, он до сих пор не мог забыть про пожар.

В конце концов, когда председатель уже редко приходил в себя, почти постоянно находясь в забытии, и мало кого узна-

вал, Дингбат уступил свое место в спальне Грэнему. Однако умирающий при свете обернутой полотенцем тусклой лампы узнал того по морщинистым щекам и сказал:

– Ты? Значит, я спал дольше, чем думал.

Эту фразу Эйнхорн повторял множество раз, вспоминая Катона, Брута и других, известных своим спокойствием в последние мгновения жизни; он коллекционировал подобные факты, выписывая их отовсюду – из воскресных приложений; сообщений о проповедях, поступающих в понедельник; из маленьких синих книжек Холдемана-Джулиуса; из сборников афоризмов – все для того, чтобы подобрать нужные сравнения. Не всегда они были удачны. Я не хочу сказать, будто председатель, в прошлом искусный любовник, не заслужил похвалы за то, что не испытал страха смерти и умер достойно, не проявив в последние минуты своих обычных привычек.

В ту ночь его уложили в великолепный гроб и поставили у Кинсмена. Когда я пришел утром, офис был закрыт; от холодных лучей солнца и сухой осенней погоды его отгораживали шторы в зеленую и черную полоску. Мне пришлось пройти через заднюю дверь. Миссис Эйнхорн, будучи в плену у предрассудков, занавесила зеркала, в темной гостиной в поминальном стакане горела свеча перед фотографией председателя в ту пору, когда у него были пышные бакенбарды в духе Билла Буффало. Артур Эйнхорн приехал на похороны из Шампейна и сидел за столом в элегантной позе неза-

висимого студента, с умным видом запустив руку в густые и курчавые волосы и не принимая к сердцу то, что считал глупым ажиотажем; этот весьма привлекательный и остроумный юноша выглядел старше своих лет – на щеках уже прорезались морщины; куртка из енота была брошена на буфетную стойку, поверх нее лежал берет. В жилетах Эйнхорна и Дингбата сделали бритвой разрезы, что должно было символизировать порванную от горя одежду. Бывшая миссис Тамбоу с прической дуэньи и в пенсне пришла вместе с сыном Дональдом, певшим на вечеринках и свадьбах; исполняя родственный долг, явился Карас Холлоуэй вместе с женой – лоб ее прикрывали кудряшки, как у пуделя, взгляд был озабоченно-неприятный. Раскрасневшееся лицо у этой весьма упитанной особы казалось обиженным и недовольным. Я заметил, что она все больше жметя к кухне, словно хочет, чтобы ее защитили от Эйнхорнов. Она им не доверяла. Впрочем, как и мужу, давшему ей все – большую, прекрасно меблированную квартиру в южном районе города, хэвилендский фарфор<sup>105</sup>, венецианские шторы, персидские ковры, французские гобелены, двенадцатиламповый радиоприемник «Маджестик». Карас в двубортном костюме из блестящей ткани являл собой противоречивое зрелище; чтобы его причесать и побрить, пришлось изрядно помучиться, пригладив волосы и обойдя все шишкообразные наросты на

---

<sup>105</sup> В 1842 г. американец Дэвид Хэвиленд основал в США первый фарфоровый завод.

лице. Такая ухоженность доставляла ему огромное удовольствие, как и редкостный английский, не помешавший Карасу разбогатеть при незначительности личности, — люди пасовали перед этими упругими неровностями кожи, маленькими глазками и бешеным натиском шестицилиндрового желтого «паккарда».

Много лет спустя я провел с миссис Карас десять забавных минут в булочной вблизи Джексон-парка, куда зашел с подругой-гречанкой, которую она приняла за мою жену: ведь мы были вместе в ранний час, в спортивной одежде и держались за руки. Она сразу меня узнала и даже раскраснелась от радости, а вспоминая прошлое, до такой степени все перепутала, что не было никакой возможности ее поправить. Моей подружке она сказала, что я фактически ее родственник, она любила меня не меньше Артура и принимала в своем доме как родного; она вся так и светилась от удовольствия и, обнимая меня за плечи, твердила, как я похорошел и возмужал — хотя и раньше девушки завидовали цвету моего лица (в офисе и бильярдной я был словно Ахилл среди девиц). Должен сказать, меня обескуражила эта мощная воля, преобразовавшая прошлое и наполнившая его любовью и добротой. Люди обычно меня действительно опекали, будто я и правда был сиротой, но она к ним не принадлежала, всегда недовольная, несмотря на богатство, злая на своего непонятого элегантного мужа, не любившая моих хозяев. Я только раз был у нее дома, когда привозил чету Эйнхорн, и пока они там

находились, сидел в отдельной комнате. Не хозяйка, а Тилли Эйнхорн принесла мне сэндвичи и кофе. И вот миссис Карас, выйдя за булочками к завтраку, получила шанс приукрасить прошлое вымышленными цветами, выращенными неизвестно зачем. Я ничего не отрицал, все подтверждал и разделял ее энтузиазм. Она даже пожурила меня – почему я ее не навещаю? А мне вспомнилось ее каменное лицо и завтрак перед похоронами, когда я помогал на кухне, а Бавацки приготовил кофе.

Эйнхорн, уставший, но не подавленный, курил, откинув голову в черном хомбурге; на меня он не обращал внимания, лишь изредка отдавал приказы. Дингбат уже несколько раз сухо и раздраженно предлагал отвезти брата в похоронное бюро Кинсмена. В конце концов коляску повез я, не Артур – тот шел рядом с матерью. Я на спине втащил Эйнхорна в лимузин, а затем тем же способом вытащил из него, когда мы приехали на кладбище, больше похожее на осенний парк: могильные плиты утопали в низком кустарнике; на обратном пути, на дороге к поминальному столу с холодными закусками, я проделал то же самое, а затем, в сумерках, в черной одежде повез Эйнхорна в синагогу; ослабевшие, недвижимые его ноги лежали рядом со мной, а щека упиралась в спину.

Эйнхорн не был религиозным, но поездка в синагогу почиталась необходимой, а он знал, как нужно себя вести – вне зависимости от того, что думал на самом деле. Коблины то-

же ходили в эту синагогу, и я в свое время водил туда кузину Анну, которая сидела там на балконе в восточном стиле и плакала по Говарду, среди других женщин в пышных нарядах, пахнущих нюхательной солью, которые оплакивали тех, кому суждено в будущем году погибнуть в огне или воде<sup>106</sup>. Сейчас же мы приехали не в то время, когда в синагоге толпятся молящиеся в шальях с бахромой или шапочках, а на бархатном футляре свитка, удерживаемого с помощью двух палок, позвякивают колокольчики. Было сумеречно, небольшая группа постоянных прихожан с густыми бородами, старческими лицами и голосами – резкими и тихими, хриплыми и проникновенными – громко распевала на иврите вечерние молитвы. Дингбату и Эйнхорну приходилось подсказывать, когда наступал их черед цитировать кадиш<sup>107</sup>.

Назад мы ехали на «паккарде» Караса с Крейндлом. Эйнхорн шепнул мне, чтобы я попросил Крейндла пойти домой. Дингбат лег спать. Карас отправился к себе на Юг. Артур пошел навестить друзей – утром он возвращался в Шампейн. Я переделал Эйнхорна в более удобную одежду и тапочки. За окном дул холодный ветер и светила луна.

Весь вечер Эйнхорн не отпускал меня – не хотел оставаться один. Он писал некролог в форме редакционной статьи для местной газеты. «Когда катафалк вернулся, в свежей могиле остался человек, переживший свое последнее преоб-

---

<sup>106</sup> Такая молитва присутствует в иудейской службе.

<sup>107</sup> Еврейская заупокойная молитва.

ражение, человек, который видел, как Чикаго вырастал из болота, превращаясь в великий город. Он приехал сюда после великого пожара, причиной которого, как говорят, была корова миссис О'Лири; приехал, спасаясь от призыва в армию, объявленного габсбургским тираном, и своей жизнью доказал, что знаменитые стройки необязательно создаются на костях рабов, как пирамиды фараонов или столица Петра Великого на берегах Невы, при возведении которой тысячи людей утонули в российских болотах. Урок жизни в Америке, подобной жизни моего отца, говорит о том, что большие достижения совместимы с нравственным существованием. Мой отец не знал умозаключения Платона, гласившего, что философия – это наука о смерти, и тем не менее умер как философ, беседуя со старцем, сидевшим в последние минуты у его постели...» Вот такой тон преобладал в некрологе; Эйнхорн написал его одним духом, за полчаса; он печатал некролог за своим столом в купальном халате и спортивной вязаной шапочке, высунув кончик языка.

Потом, прихватив пустую картонную папку, мы пошли в комнату отца и там, закрыв двери и включив свет, стали просматривать бумаги председателя. Эйнхорн передавал мне листы, приговаривая:

– Разорвать. А это в папку – не хочу, чтобы видели другие. Запомни, куда кладешь эту записку, – завтра дашь ее мне. Открой ящики и перебери их. Где ключи? Потряси его брюки. Положи одежду на кровать и проверь карманы. Зна-

чит, он вел дела с Файнбергом? Ну и старый лис папенька, каких поискать! Главное, держать все в порядке. Освободи стол – будем на нем сортировать материал. То, что я не смогу носить из одежды, можно продать, хотя многое уже вышло из моды. Не выбрасывай клочки бумаги. Он часто записывал на них важные вещи. Старик думал, что будет жить вечно, – вот один из его секретов. Полагаю, так считают все могущественные люди. И я не исключение – хотя сегодня день его смерти. Мы ничему не учимся, ничему в мире, несмотря на все прочитанные книги по истории. Мы просто соглашаемся с ними или не соглашаемся, но свет истины берем извне. Если можем. Всегда существует множество прекрасных советов, и мы не становимся лучше не потому, что нет замечательных и истинных идей, которым можно следовать, просто наше тщеславие перевешивает всю эту мудрость... А вот запись о Марголисе – выходит, он врал, утверждая вчера, что ничего не должен отцу. «Кривоногий – двести долларов». Он мне заплатит, или я съем его печенку, лицемер, сукин сын!

К полуночи у нас скопилась куча порванных бумажек – словно бюллетеней кардиналов, сожжение которых свидетельствовало об избрании нового папы. Однако Эйнхорна не удовлетворяло положение вещей. Большинство должников отца были обозначены прозвищами, как Марголис: Пердун, Дурная Голова, Лентяй, Хохотун, Сэм-управляющий, Ахтунг<sup>108</sup>, Король Башан<sup>109</sup>, Половник. Отец давал в долг

---

<sup>108</sup> Внимание! (нем.)

деньги и не брал расписок, оставляя себе памятки на клочках бумаги. Общая сумма долгов доходила до нескольких тысяч долларов. Эйнхорн знал этих людей, но те из них, кто не захотел бы возвращать долг, могли этого не делать. Председатель неожиданно поставил его в зависимость от нравственных качеств должников, со многими из которых у сына сложились не самые лучшие отношения. Эйнхорн выглядел задумчивым и тревожным.

– Артур уже пришел? – нервно спросил он. – У него ранний поезд. – В жалком подобии когда-то великолепной комнаты, где старик обитал среди женской роскоши, Эйнхорн, округлив свои птичьи глаза, думал о сыне и затем, облегченно вздохнув, произнес: – Ну, это все ему неинтересно; он дружит с поэтами и умными людьми, ведет ученые беседы.

Он всегда так говорил об Артуре – это его утешало.

---

<sup>109</sup> Ог, король Башана, был побежден в битве израильтянами (Числа, 21:33–35).

## Глава 7

Мне вспоминается легенда о Крезе, и я вижу Эйнхорна в роли этого несчастного. Поначалу богатый гордец высокомерно говорил с Солоном, который вне зависимости от того, был ли он прав в их споре о счастье, оставался просто путешествующим аристократом того времени, снизошедшим до беседы с богатым провинциалом. Непонятно также, почему такой кладезь мудрости, как Солон, не смягчил тона с полуварваром, владельцем золота и драгоценностей. Но он тем не менее оказался прав. А заблуждавшийся Крез со слезами поделился полученным уроком с Киром, который не бросил его в костер, сохранив жизнь. Этого старика несчастья сделали философом, мистиком и хорошим советчиком. А сам Кир сложил свою голову к ногам мстительной царицы, которая окунула ее в бурдюк с кровью и воскликнула: «Ты хотел крови? Так напейся досыта»<sup>110</sup>.

Его сумасшедший сын Камбиз стал наследником Креза и пытался прикончить того в Египте; еще раньше он убил собственного брата и безвинного священного быка Аписа и подверг мучениям бритоголовых жрецов. Киром для Эйнхорна стал кризис, костром – крушение фондового рынка, бильярдная символизировала изгнание из Лидии и бандита

---

<sup>110</sup> В 530 г. до н. э. в битве против массагетов Кир потерпел поражение и погиб.

Камбиза, которого ему каким-то образом удалось пережить.

Председатель умер незадолго до всеобщего краха, и не успел он еще обжиться в могиле, как в центре Нью-Йорка и на чикагской Ласалль-стрит из небоскребов начали выбрасываться бизнесмены. Эйнхорн пострадал одним из первых – частично из-за созданной председателем системы доверия, а частично из-за своего неумения вести дела. Тысячи долларов пропали в компании коммунального обслуживания Инсулла – Коблин на этом тоже много потерял; наследство Эйнхорна растаяло вместе с наследством Дингбата и Артура из-за вложений в строительство домов, которые в новой ситуации он не мог сохранить. В итоге у него остались только свободные участки на пустоши и рядом с аэропортом, и то несколько из них пошли на уплату налогов; и, когда я порой вывозил его на прогулку, он говорил:

– Вон те магазины принадлежали нам. – Или, показывая на землю меж двух хижин, заросшую сорняками: – Отец приобрел ее восемь лет назад – хотел построить здесь гараж. Хорошо, что не построил.

Так что наши поездки окрашивал меланхолический привкус, хотя Эйнхорн не ныл и не жаловался, а его замечания носили скорее информационный характер.

Даже дом, в котором он жил, построенный Председателем за сто тысяч долларов, стал в конце концов убыточным: магазины закрылись, а жильцы верхних этажей перестали вно-

силь арендную плату.

– Не платят – значит, не будем топить, – сказал Эйнхорн зимой, решив быть жестким. – Хозяин должен так поступить или расстаться с собственностью. Я действую в соответствии с экономическими законами и тем, какие у нас времена – хорошие или плохие, и стараюсь быть в этом последовательным.

Так он оправдывал свои действия. Однако его вызвали в суд и дело он проиграл, уплатив судебные издержки и все такое. Затем он сдал в аренду под квартиры пустующие магазины: в одном поселилась негритянская семья, в другом цыганка, предсказывающая будущее. Цыганка вывесила в окне нарисованную руку и огромный, снабженный ярлыком мозг. Теперь в доме дрались и крали туалетные принадлежности. Вскоре квартиранты, возглавляемые рыжим поляком-парикмахером Бетшевски, стали его врагами; Бетшевски, будучи в настроении, закатывал концерты на мандолине прямо на тротуаре, а проходя мимо зеркальных стекол Эйнхорна, бросал в его сторону холодный взгляд. Эйнхорн начал процесс по выселению его и еще нескольких арендаторов, за что коммунисты подвергли его пикетированию.

– Да я больше знаю о коммунизме, чем они, – досадовал он. – Что эти невежественные идиоты могут понимать? Даже Сильвестр не разбирается в революции.

Сильвестр был тогда активным членом компартии. Итак, Эйнхорн сидел за столом председателя, где его могли видеть

пикетчики, и ждал, какие действия предпримет шериф. Враги вымазали окна свечным воском, а на кухню забросили бумажный пакет с экскрементами. Сразу после этого Дингбат собрал отряд добровольцев из бильярдной, чтобы охранять дом; он кипел праведным гневом и хотел взять в осаду магазин Бетшевски и перебить все зеркала. Собственно, то, куда переехал в кризис Бетшевски, нельзя было назвать магазином – это был просто стул в подвале, где он еще держал и канареек. Клем Тамбоу по-прежнему ходил к нему бриться, утверждая, что только рыжий брадобрей и может справиться с его бородой. Дингбат злился на него за это. Бетшевски все же выселили, и его жена с улицы кричала на Эйнхорна, обзывая его вонючим жидом и калеккой. С ней даже Дингбат не мог справиться. Да и Эйнхорн приказал:

– Без моего разрешения никаких грубых действий.

Он не исключал применения силы, но хотел контролировать ситуацию, и Дингбат повиновался, хотя Эйнхорн и профукал наследство.

– Ударило не только по нам, – оправдывал его Дингбат, – а по всем подряд. Если Гувер и Дж. П. Морган ни о чем не догадывались, что говорить об Уилли? Но он все вернет. Я в нем не сомневаюсь.

Причиной выселений стало полученное Эйнхорном предложение от изготовителя плащей, жаждущего заполучить рабочее место на верхних этажах. В нескольких помещениях уже разобрали стены, когда перестройке воспротивились

муниципальные власти из-за нарушения пожарной безопасности, а также искажения самой цели строительства здания, не предусматривающей его производственную эксплуатацию. К этому времени часть станков была установлена, и производитель требовал у Эйнхорна денег на их вывоз. Последовал еще один процесс, на котором Эйнхорн, отбросив все принципы, пытался представить дело так, будто вся собственность принадлежит ему, поскольку механизмы прикреплены к полу. Этот процесс он тоже проиграл, а владелец станков счел более удобным разбить окна и спустить оборудование с помощью блока, на что получил предписание суда. При этом пострадала громадная, подвешенная на цепях вывеска Эйнхорна. Впрочем, это уже не имело значения: ведь он лишился здания, последней крупной собственности, и бизнеса у него больше не было. Офис закрыли, большую часть обстановки продали. Столы – один на другом – обновились в столовой, папки лежали у кровати, и к ней можно было подойти только с одной стороны. В ожидании лучших времен Эйнхорн хотел сберечь как можно больше мебели. В гостиной стояли вращающиеся стулья, туда же вернули слегка реставрированную обгоревшую мебель, от которой попахивало гарью (страховая компания лопнула, не успев возместить ущерб от пожара).

Эйнхорн по-прежнему владел бильярдной и теперь сам занимался ею; в уголке рядом с кассой он устроил подобие офиса и вел там свой скромный бизнес. Брошенный судьбой

в столь незначительное место, он с трудом смирился с этим, но потом и здесь взял все в свои руки, генерируя идеи, как делать деньги. Прежде всего, переставив бильярдные столы, он выделил место для буфета. Затем поставил зеленый стол для игры в кости. Эйнхорн сохранил звание нотариуса и страхового агента, и газовые, электрические и телефонные компании уполномочили его принимать платежи. Дело подвигалось медленно – время было такое, и даже его изобретательность словно онемела от скорости и глубины падения; всю силу мысли он бросил на поиски шагов, необходимых для спасения денег Артура и Дингбата. Кроме того, с потерей собственности его окружение сузилось до пределов улицы; безмолвие плотно давило на это безлюдное место, не раздавались даже гудки автомобилей, – к тому же еще прибавился унижительный переход от долларов к пятицентовикам. Да и он, стареющий больной человек, отказался от больших планов и занимался чем попало. Он считал, что общее несчастье не оправдывает его полностью, ведь стоило наследству председателя перейти к нему, как оно взбрыкнуло и ринулось прочь, словно стая маленьких золотых зверьков, готовых повиноваться только голосу старика.

– Лично для меня все не так ужасно, – иногда говорил он. – Я и раньше был калекой и сейчас им остался. Богатство не подарило мне здоровые ноги, и если кому-то известно, что ждет его в будущем, так это мне, Уильяму Эйнхорну. Можешь не сомневаться.

Все было не столь однозначно. Я знал, что вера в лучшее будущее зрела в нем очень медленно, и хорошо помнил те ужасные дни, когда он потерял большое здание и, в отчаянной попытке его спасти, руководствуясь больше гордыней, нежели чутьем бизнесмена, лишился и последних нескольких тысяч из наследства Артура. Тогда он меня формально уволил, сказав:

– Ты мне не по карману, Оги. Придется с тобой расстаться.

В то тяжелое время за ним ухаживали Дингбат и миссис Эйнхорн; сам же он почти все время проводил в кабинете, ошеломленный, подавленный, охваченный мрачными мыслями, небритый – и это человек, привыкший отвечать за жизнь семьи, за порядок; наконец он все же покинул унылую, заставленную книгами комнату и объявил, что перебирается в бильярдную. Так Адамс, не избранный президентом на второй срок, вернулся в столицу простым конгрессменом. Чтобы не забирать Артура из университета и не посылать на работу (при условии, что тот на это согласится), требовалось что-то делать – ведь помощи ждать не приходилось; он даже готов был отказаться от страхового полиса, чтобы достать наличные.

Артур не имел профессии; он не был дантистом, как сын Крейндла, содержащий теперь всю семью; он учил гуманитарные науки – литературу, языки, философию. В то время занятия сыновей обрели невероятное значение. Говард Коб-

лин зарабатывал на жизнь игрой на саксофоне, и Крейндр больше не подтрунивал над сыном, говоря, что тот совсем не интересуется женщинами, – напротив: он советовал мне с помощью Котце устроиться в аптеку, расположенную под его офисом. Благодаря этому я обрел там теплое местечко продавца газировки. Я был чрезвычайно признателен: ведь Саймон окончил школу и теперь не получал благотворительную помощь. И на Ласалль-стрит ему сократили дни. Борг пристроил туда своих безработных племянников и многих прежних работников повыгонял.

Что касается семейных сбережений – после Бабули ими ведал Саймон, – они пропали. Банк, где их хранили, лопнул одним из первых; теперь в этом доме с колоннами располагался рыбный магазин – Эйнхорн видел его из угла в миллиардной, где устроил офис. Однако Саймон окончил школу весьма успешно – трудно понять, как ему удалось, – и его назначили классным казначеем для покупки колец и школьных булавок. Думаю, его непогрешимо честный облик сыграл здесь свою роль. Приходилось отчитываться за траты перед директором, что не помешало ему пойти на сделку с ювелиром и присвоить себе пятьдесят долларов.

Саймон был способен на многое, я тоже. Мы не говорили с ним на эту тему. Но я привык жить с оглядкой на него и кое-что знал о его планах – он же не контролировал мое существование. Саймон поступил в муниципальный колледж, полагая, что там его подготовят к государственной службе, –

в то время требовались сотрудники бюро погоды, геологи и почтовые работники; об этом говорили объявления в газетах и библиотечных бюллетенях.

У Саймона были отличные способности. Может, чтение содействовало их пробуждению, развивая пронизательный, здравый, можно сказать, губернаторский подход. Подход Джона Севьера<sup>111</sup>. Или Джексона<sup>112</sup> – в тот момент, когда пуля дуэлянта отскочила от большой пуговицы на его плаще и он приготовился стрелять, – проникновенный взгляд главнокомандующего, неподкупного и дальновидного, с благородной морщиной на лбу, выражающей озабоченность. Мне кажется, одно время я видел такой искренний, неподдельный взгляд у Саймона. И как тогда можно утверждать, будто искренность ушла навсегда? Впрочем, он мог и притвориться. Я точно знаю, что он пользовался такими приемами. А если используешь их сознательно, становятся они от этого фальшивыми? В борьбе все средства хороши.

Возможно, в голове у Бабушки Лош, оценившей этот дар Саймона, сложился прообраз учений Розенвальда или Карнеги. Если он присутствовал при уличной драке, полицейский из дюжины свидетелей выбирал его и спрашивал, что произошло. Или когда тренер выходил из раздевалки с новым баскетбольным мячом, десятки рук в нетерпении тяну-

---

<sup>111</sup> *Джон Севьер* – первый губернатор штата Теннесси.

<sup>112</sup> Имеется в виду дуэль между 7-м президентом США *Эндрю Джексоном* (1829–1837) и неким *Чарлзом Дикинсоном*, обвинившим того в трусости.

лись к нему, но он кидал мяч Саймону, не выказывавшему никаких эмоций и никогда не удивлявшемуся такому повороту событий – он этого ожидал.

Сейчас он оказался на хлипкой почве, его вынуждали снизить скорость, с которой он двигался к тайно обозначенной цели. В то время я не знал, что это за цель, да и не понимал, зачем вообще нужны какие-то ориентиры, – это было выше моего понимания. Он же постоянно поглощал большое количество информации – учился танцевать, беседовать с женщинами, ухаживать, писать романтические письма, посещать рестораны, ночные клубы и дансинги, завязывать галстуки и бабочки, подбирать платки для нагрудных карманов, покупать одежду, вести себя в толпе. Или в приличном доме. Для меня, пропуская мимо ушей наставления Бабули, это представлялось чем-то недостижимым. Саймон, как мне казалось, тоже не вслушивался в ее советы, но уловил, однако, самую суть. В качестве примера назову некоторые действия, которые кто-то – но не мы – совершал автоматически. Я следил, как он овладевал умением носить шляпу, курить сигарету, сворачивать перчатки и класть их во внутренний карман; я восхищался и недоумевал, как это ему удавалось, и кое-чему научился сам. Но никогда не мог при этом добиться его изящества.

Саймон впитывал хорошие манеры в вестибюлях роскошных отелей вроде «Палмер-хауса», в ресторанах с окнами, занавешенными портьерами с кисточками, где горели свечи

и струнные оркестры играли венские – раз-два-три – вальсы. У него раздувались ноздри. Этот образ жизни его захватывал, хотя он и знал ему цену. Поэтому я понимал, каково ему переносить бесцветное окружение унылыми зимними вечерами, носить длинное пальто, по два дня не бриться, проводить время в аптеке или с коммунистом Сильвестром в памфлетной лавке Зехмана, иногда в бильярдной. На вокзале он работал только по субботам, и то потому, что нравился Боргу.

У нас было мало времени для разговоров; иногда, в преддверии зимы, мы сидели за буфетной стойкой в бильярдной у окна, откуда виднелся изгаженный лошадиным навозом, углем и копотью снег в коричневатой дымке, окутавшей зажатые уже в четыре часа фонари. Мы делали необходимую работу по дому, помогали Маме – разжигали печки, ходили в магазины, выносили мусор и золу; однако, покончив с этим, дома не засиживались – особенно я; Саймон иногда делал на кухне домашние задания, и Мама оставляла ему горячий кофе. Я не задавал Саймону вопрос, волновавший Джимми Клейна и Клема: не втянул ли его Сильвестр в политику. В ответе я и так не сомневался: Саймону надо как-то убивать время, вот он и ходит от скуки на разные мужские посиделки, форумы, собрания арендаторов, а больше для того, чтобы знакомиться там с девушками; он вовсе не считает Сильвестра новым светочем, ему интересны большие девочки в кожаных куртках, на низких каблуках, в беретах и

хлопчатобумажных рабочих блузках. На принесенной домой литературе он по утрам оставлял пятна от кофе или выдирал из брошюр страницы своими крупными белыми руками и растапливал печь. Я успевал прочесть больше, чем он, – и делал это не без любопытства. Все-таки я знал Саймона и его представление о правильном порядке вещей. Он считал, что мы с Мамой достаточная для него нагрузка, и не собирался взваливать на плечи еще и весь рабочий класс; sentimentальные чувства Сильвестра были для него как пиджак с чужого плеча. Однако Саймон захаживал в лавку Зехмана и, сидя под зовущими к действию пролетарскими плакатами, спокойно курил сигареты с фильтром, слушая беседы о латинской, германской культуре и прочей экзотике; и все же, в сизой дымке холодного воздуха, уткнувшись подбородком в воротник рубашки, он не принимал всерьез ничего из сказанного.

Его неожиданное появление в бильярдной явилось сюрпризом для меня, учитывая прежние высказывания о моей дружбе с семейством Эйнхорн. Но все сводилось к тому же: унылое время, отсутствие денег; вскоре он свел знакомство с Сильвестром – этот борец с медвежьими глазками вел памфлетную войну с буржуазией; Саймон также брал уроки игры на бильярде у Дингбата. И вскоре уже весьма преуспел, мог даже кое-что выиграть – пять центов за шар, стараясь держаться подальше от здешних завсегдатаев. Иногда он играл в задней комнате в кости, и тут ему тоже везло, но нико-

гда не связывался с хулиганами, гангстерами и ворами, и в этом отношении был умней меня – однажды я чуть не оказался причастным к грабежу.

Основное время я проводил с Джимми Клейном и Клемом Тамбоу. До последних школьных семестров я видел их нечасто. Безработица крепко ударила по семье Джимми – Томми потерял работу в муниципалитете, когда Сермак<sup>113</sup> вышвырнул оттуда республиканцев, – и пришлось здорово вкалывать; по ночам он изучал бухгалтерское дело или хотя бы пытался: с математикой он был не в ладах, да и с прочей умственной работой тоже, но его переполняла решимость выбиться в люди ради семьи. Сестра Элеонора уехала в Мексику, совершив этот долгий путь на автобусе, в надежде добиться успеха. Там ее ждал кузен, тот самый, что пробудил в Джимми интерес к генеалогии.

Клем же Тамбоу до такой степени ненавидел школу, что большую часть времени проводил в постели под мятой простыней, читая киножурналы. Он превращался в первостатейного лодыря. Через мать он вел бесконечные дискуссии с ее вторым мужем (тот тоже остался без работы) относительно своего поведения. Соседский сын трудился наклейщиком объявлений – тридцать центов за час; почему же он отказывается искать место? Все четверо жили в задней части магазина «Одежда для малышей», принадлежавшего бывшей

---

<sup>113</sup> Антон Сермак – мэр Чикаго; убит в 1933 г. при покушении на президента США Франклина Делано Рузвельта.

миссис Тамбоу. Лысый, с остатками черных жестких волос на затылке, отчим Клема сидел в нижнем белье у плиты, читал «Джуиш курьер» и готовил на всех ланч – сардины, крекеры и чай. На столе всегда находилось две-три банки рыбных консервов «Кинг Оскар», консервированное молоко и сухое печенье. Мысль отчима не была ключом, и предметы для разговора не отличались разнообразием. Заходя к ним, я видел его в шерстяном нижнем белье и обычно слышал один и тот же вопрос: сколько я зарабатываю?

– Перетрудилась? – спросил Клем у матери. – Если не найду чего-нибудь получше, проглочу цианид. – Мысль эта жутко его рассмешила, раздалось громкое, во весь рот, «ха-ха-ха!», даже волосы затряслись. – Да я скорее останусь в постели и буду сам с собой играть, – продолжил он. – Ты не такая старая, ма (мать была в юбках, из-под которых виднелись ноги исполнительницы испанских танцев), чтобы не понять, о чем речь. Ты ведь спишь в соседней комнате со своим мужем. – Мать задохнулась от негодования, но из-за моего присутствия ничего ему не ответила, только испепелила взглядом. – И нечего так смотреть – разве ты не для этого вышла замуж?

– Не стоит так говорить с матерью, – сказал я, когда мы остались наедине.

Клем рассмеялся:

– Нужно провести здесь пару дней и ночей – тогда запоешь по-другому. Тебя ввело в заблуждение ее пенсне, ты и

представить не можешь, какая она развратница. Посмотрим в глаза фактам. – И конечно, он открыл мне эти факты, в которых фигурировал даже я: якобы она осторожно расспрашивала обо мне и говорила, что я кажусь очень сильным.

Днем Клем выходил на прогулку с тростью и, полагая, будто это очень по-английски, принимал чопорный вид. Из библиотеки он брал автобиографии лордов и до слез хохотал, читая их; с польскими лавочниками изображал джентльмена с Пиккадилли и всегда был готов разразиться громким ликующим смехом; глубокие морщины на красном лице говорили о радостном, но вызывавшем отвращение расположении духа. Если ему удавалось выклянчить у отца несколько баксов, он ставил на лошадей и в случае выигрыша угощал меня бифштексом и сигарой.

Встречался я и с другими людьми. Одни читали толстые книги на немецком и французском, чуть ли не наизусть знали учебники по физике и ботанике, были знакомы с Ницше и Шпенглером. А другие были из криминального мира. Но я никогда не думал о них как о преступниках – просто ребята из бильярдной, которых я видел и в школе, и в гимнастическом зале, где во время перемены они танцевали фокстрот, или в сосисочной. Я общался со всеми, и никто не мог сказать, к какой группе я принадлежу. Да я и сам этого не знал. Не будь знаком с Эйнхорном, ходил бы я в бильярдную? Неизвестно! Естественно, я не был зубрилой или ученым чудачком, хотя ничего не имел против обоих. Но банди-

ты могли меня принять за того или другого. Именно тогда воришка по имени Джо Горман заговорил со мной о возможной краже.

Я не сказал ему «нет».

Горман был умен, красив, строен, прекрасно играл в баскетбол. У его отца, владельца шиномонтажа, дела шли хорошо, и у сына не было причин для воровства. Но он уже слыл известным угонщиком автомобилей и дважды попадал в тюрьму «Сент-Чарлз». Теперь он задумал ограбить магазин кожаных товаров на Линкольн-авеню, недалеко от дома Коблинов; требовалось три человека. Третьим был Моряк Булба, мой старый недоброжелатель, в свое время укравший у меня тетрадь по естествознанию. Он знал, что я не доносчик.

Горман взял автомобиль отца, чтобы быстрее слинять. Мы собирались влезть в магазин через заднее подвальное окно и вынести кожаные сумки. Булба обещал их на время припрятать, а ошивавшийся в бильярдной скупщик краденого по имени Джонас должен был их продать.

Апрельской ночью мы приехали в северный район, припарковались в переулке и по одному проскользнули во двор. Булба предварительно изучил это место – небольшое подвальное окно не было зарешечено. Горман попытался его открыть: сначала отмычкой, потом рулеткой, – о таком способе он слышал в бильярдной, но сам никогда к нему не прибегал. Ничего не получалось. Тогда Моряк завернул в кепку кирпич и высадил окно. Шум прогнал нас в переулочек, но ни-

кто не вышел и мы вернулись. К этому моменту мне уже все опротивело, но назад пути не было. Моряк Булба и Горман влезли внутрь, оставив меня на стреме. Полная бессмыслица: уходить пришлось бы через то же самое окно, и, задержи меня в переулке полицейские, их бы тоже поймали. Тем не менее Горман уже понаторел в таких делах, и мы его слушались. Сначала было тихо – только шорох крыс и шуршание бумаги. Потом раздался шум, и в окне показалось узкое бледное лицо Гормана – он стал передавать мне мягкие сумки в упаковочной бумаге, а я запихивал их в большой спортивный рюкзак, который принес под широким плащом. Мы с Булбой выбежали из двора на соседнюю улицу, а Горман подогнал туда машину. Булба вышел позади своего дома, перекинул рюкзак через забор, прыгнул следом – его матросские штаны широко раздулись – и приземлился на гравий и консервные банки. Я вернулся коротким путем, через строительные участки, вытащил ключ из жестяного почтового ящика и вошел в спящий дом.

Саймон знал, что я приду поздно, и сказал об этом Маме: она зашла к нему в полночь и спросила, где я. Похоже, его это не волновало, не заметил он и моего смятения за напускным безразличием. Я долго не спал, соображая, как объяснить появление у меня двадцати или тридцати долларов, – такой, по прикидке, была моя доля. Клем мог бы сказать, что мы поставили на лошадь и выиграли, хотя это выглядело неправдоподобно. Впрочем, никаких особых трудностей не

предвиделось: я стану отдавать деньги Маме частями в течение нескольких недель; к тому же теперь, после отъезда Бабули, никто не обращал внимания на то, чем я занимаюсь. Прошло какое-то время, прежде чем я мог спокойно думать о случившемся.

И все же я недолго самоедствовал. Такой уж у меня темперамент. Пропустив всего один урок, я пошел в школу. Был на репетиции хора, а в четыре часа отправился в бильярдную; там, на стуле чистильщика сапог, сидел, как обычно, в брюках клеш Моряк Булба и следил за партией в снукер. Все складывалось как нельзя лучше. Джонас, хранитель краденного, должен был сегодня же забрать товар. Ночную историю я тут же выбросил из головы – этому немало способствовали прелесть весны и раскрывшиеся почки деревьев.

– В парке соревнования велосипедистов. Поедем – посмотрим, – предложил Эйнхорн.

Я охотно усадил его в автомобиль, и мы тронулись в путь. Теперь, представляя, что такое кража, я решил больше в этом не участвовать и сказал Джо Горману, чтобы в дальнейшем он на меня не рассчитывал. Я ждал, что меня назовут трусом, но он отнесся к моему заявлению спокойно и без всякого презрения.

– Хорошо, раз это тебя не привлекает.

– Вот-вот, именно не привлекает.

– Ну что ж, – задумчиво проговорил он. – Булба – сопляк, а с тобой дело бы пошло.

– Нет смысла, раз это не мое.

– Да ладно, черт возьми. Конечно.

Он держался очень снисходительно и беспристрастно. Причесался, глядя в зеркало на автомате с жевательной резинкой, поправил яркий галстук и вышел. Впоследствии он мало со мной беседовал.

Деньги мы прокутили с Клемом. Но этим дело не кончилось. Эйнхорн узнал о нашей проделке от Крейндла – хранитель краденого предложил ему несколько сумок на продажу. Возможно, Крейндл и Эйнхорн решили основательно меня проработать. И вот как-то днем в бильярдной Эйнхорн подзвал меня. По его сдержанному тону я понял, что будет неприятный разговор, и догадывался, по какому поводу.

– Я не собираюсь сидеть и ждать, когда ты угодишь за решетку, – сказал он. – В какой-то степени я чувствую себя ответственным за то, что ты попал в такое окружение. Хоть ты и рослый, но по возрасту тебе рано здесь быть. – Как и Булбе, и Горману, и десятку других, на что, впрочем, никто не обращал внимания. – Оги, я не хочу, чтобы ты занимался грабежом. Даже Дингбат, хоть он и не отличается большим умом, не лезет в эти дела. К сожалению, мне приходится терпеть здесь самых разных людей. Я знаю, кто из них вор, кто бандит, кто сутенер. С этим ничего не поделаешь. Это бильярдная. Но ты, Оги, знаешь лучшее, ты видел хорошие времена, и, если я услышу, что ты опять влез во что-нибудь подобное, я выброшу тебя отсюда. Ты никогда больше не войдешь в

наш дом, не увидишь ни меня, ни Тилли. Если бы узнал твой брат! Бог мой! Он отколотил бы тебя. Однозначно.

Я согласился с ним. Наверное, Эйнхорн читал во мне как в раскрытой книге, видел мой ужас и страх. Он дотянулся до моей руки и накрыл ее своей.

– Юноша начинает разрушаться и гнить, его здоровье и красота уходят уже с первыми вещами, которые он совершает как мужчина. Мальчишка ворует яблоки, арбузы. Если он по натуре авантюрист, то в колледже подделает чек – один, второй. Но идти на настоящее воровское дело вооруженным...

– Мы не были вооружены.

– Сейчас я открою этот ящик, – резко проговорил он, – и дам тебе пятьдесят баксов, если поклянешься, что у Джо Гормана не было оружия.

Я покраснел и чуть не грохнулся в обморок. Вполне правдоподобно – так могло быть.

– Если бы приехали копы, он постарался бы оружием положить себе дорогу. Вот во что ты вляпался. Да, Оги, там могла остаться пара мертвых копов. А ты знаешь, что грозит убийце полицейских. Прямо на месте ему разбивают в кровь лицо, ломают руки; бывает и похуже. И это в самом начале жизни. Неужели просто потому, что бурлят молодые силы? Зачем ты на это пошел?

Я не знал.

– Ты что, настоящий жулик? Может, у тебя призвание?

Тогда внешность и правда обманчива. В нашем доме я ничего от тебя не прятал. Возникло у тебя желание что-нибудь стащить?

– Что вы, мистер Эйнхорн! – вспыхнул я.

– Можешь не отвечать. Знаю, что не возникало. Я просто спросил, нет ли у тебя внутренней потребности воровать? Впрочем, в это я не верю. Прошу тебя, Оги, держись от воров подальше. Обратись ты ко мне – я дал бы двадцать баксов, чтобы помочь твоей матери-вдове. Тебе очень нужны были деньги?

– Нет.

С его стороны было благородно назвать мать вдовой, хотя он знал, как все обстояло на самом деле.

– Или тебе хотелось пощекотать нервы? Но теперь не то время. В крайнем случае прокатился бы на «американских горках», на скоростных санях. Прыгнул с парашютом. Сходил в Ривервью-парк. Подожди... Мне пришла в голову одна мысль. В тебе заложено сопротивление. Ты не принимаешь все подряд. Просто делаешь вид.

Первый раз обо мне сказали нечто похожее на правду. На меня это сильно подействовало. Он не ошибся: во мне действительно заложено сопротивление, желание его оказывать и говорить «нет!», – это точно, яснее ясного, такая потребность сродни острому приступу голода.

Но то, что Эйнхорн мог думать обо мне – думать обо мне! – это открытие пьянило, я чувствовал прилив любви

к нему. Но скрытое качество – сопротивление, живущее во мне, сковывало, поэтому я не мог ни спорить, ни проявлять свои чувства.

– Не будь простаком, Оги, не попадайся в первую же западню, уготовленную тебе жизнью. Именно юноши, как и ты, не обласканные с детства судьбой, заполняют тюрьмы, исправительные заведения и прочие подобные учреждения. Руководство штата заблаговременно заготавливает для них скудную еду. Оно знает, что найдется контингент, который обязательно угодит за решетку и все это съест. И знает также, сколько получит щебенки из камней, откуда возьмутся дробильщики и много ли человек отправится лечить сифилис в общественные больницы. Из нашей местности, из бедных районов города и подобных им по всей стране. Это практически предопределено. И только хлюпик позволит включить себя в эту статистику. Выходит, и тебя вычислили заранее. Все эти грустные и трагические реалии только и ждут, чтобы взять тебя в оборот; тюремные камеры, лечебницы, очередь за супом – удел тех, кому предназначено стать жертвой, измочаленным, рано состарившимся человеком, угасшим, никчемным, безвольным. Никого не удивит, если такое случится с тобой. Подходящая кандидатура.

Помолчав, он прибавил:

– А вот меня удивит. Но и с меня брать пример я тебе не советую... – При этом он понимал, что подобные советы противоречат его многочисленным мошенничествам.

У Эйнхорна нашлись специалисты, заставившие работать вхолостую газовый счетчик; он обхитрил электрическую компанию, подсоединившись непосредственно к главному кабелю; с помощью взяток он избежал проблем с квитанциями и налогами; тут его смекалка была неистошима. Его голову переполняли интриги и махинации.

– Я перестаю быть мошенником, когда думаю, по-настоящему думаю, – говорил он. – В конечном счете ни душу, ни жизнь размышлениями не спасти, но если ты думаешь, самым скромным утешительным призом будет мир.

Эйнхорн продолжал разглагольствовать, но мои мысли приняли другое направление. Я не хотел, чтобы моя судьба была predetermined. Детерминация всегда меня отталкивала, и становиться тем, кого из меня хотели сделать, не входило в мои планы. Я сказал «нет» Джо Горману. Сказал Бабуле и Джимми тоже. Многим. Эйнхорн это знал. Ведь он тоже хотел влиять на меня.

Чтобы уберечь от неприятностей, а также в силу привычки иметь под рукой посыльного, курьера или доверенное лицо, Эйнхорн вновь нанял меня, но за меньшие деньги.

– Смотри, старина. Я не спущу с тебя глаз.

А разве он упускал из вида кого или что-нибудь, находившееся в его ведении? Я со своей стороны не сводил глаз с него. Теперь я больше интересовался его интригами, чем прежде, когда являлся в доме всего лишь слугой и действия

Эйнхорна были слишком сложны для моего понимания.

Одно из первых дел, в которых я ему помог, было очень опасным – в нем фигурировал гангстер Ноузи Матчник. Еще несколько лет назад он ничего собой не представлял, работал на одну из банд, обливая кислотой одежду в тех химчистках, которые отказывались платить дань, и все такое. Теперь он поднялся выше, имел деньги и искал, куда бы их вложить – особенно его привлекала недвижимость. Как-то летним вечером он серьезно сказал Эйнхорну:

– Мне известно, что случается с парнями, занимающимися рэкетом. В конечном счете их взрывают. Я часто это видел.

Эйнхорн заметил, что у него есть на примете неплохой участок свободной земли, который они могли бы вместе купить.

– Если будете участвовать в сделке со мной, можете не беспокоиться: все пройдет по-честному. Я буду стоять на своем, – откровенно признался он Матчнику.

Начальная цена за землю равнялась шестистам долларам. Эйнхорну уступали за пятьсот. В этом не приходилось сомневаться, поскольку владел участком сам Эйнхорн, купивший его у отцовского дружка за семьдесят пять долларов, а теперь ставший совладельцем и получивший к тому же приличную прибыль. Дельце провернули ловко и без нервов. Все кончилось хорошо; Матчник нашел покупателя и радовался: как посредник он абсолютно честно заработал сто долларов.

Но если бы он узнал подоплеку дела, то пристрелил бы Эйнхорна или застрелился сам. Естественный поступок в такой ситуации, на его взгляд: ведь тут затронута честь. Я трепетал: вдруг Матчнику придет в голову обратиться в Регистрационную палату, где он узнал бы, что участком номинально владеет родственник миссис Эйнхорн. Но Эйнхорн меня успокаивал:

– Не бери в голову, Оги. Я вычислил этого человека. Он феноменально глуп. К нему нужно приставить не одного ангела-хранителя.

Вот так, не рискуя ни центом, Эйнхорн заработал на этой сделке больше четырехсот долларов. Он был горд и весел – ведь это была его идея. То был особый триумф, и он хотел большего – чтобы его жизнь целиком состояла из таких моментов. А он тем временем сидел бы рядом с зеленым сукном, за которым играют в «Двадцать шесть» и где лежит кожаный футляр для костей, и изумрудный отблеск падал на его лицо, на белую кожу и блеклые глаза. Ценные шары из слоновой кости он держал у себя в никелевой коробке из-под леденцов и внимательно наблюдал за всем происходящим в помещении.

Я не видел больше ни одной бильярдной, где за буфетной стойкой постоянно находилась бы женщина, как у нас Тилли Эйнхорн. Она подавала великолепный чили, омлеты, бобовый суп, научилась управляться с электрическим кофейником и даже точно засекала момент, когда надо бросать внутрь

соль и сырое яйцо, чтобы кофе получился отменным. К такой перемене в жизни она отнеслась с энтузиазмом и, казалось, даже физически стала сильнее. Она расцвела и в мужском обществе чувствовала себя как рыба в воде. В бильярдной много шумели и кричали, некоторых слов она не понимала, но это было только к лучшему. Атмосфера в бильярдной в ее присутствии не смягчалась – Тилли не обладала решительностью английских барменш или владелиц бистро; здесь посетители были слишком резкими и вспыльчивыми и не допускали никаких влияний; крики, драки, грязные ругательства и грохот дверей здесь не прекращались никогда. Но она как-то прижилась в этом вертепе в окружении чили, сосисок, бобов, кофе и яблочного пирога.

Кризис изменил и самого Эйнхорна. При жизни Председателя у него недоставало опыта, и в некоторых вопросах он в свои годы оставался некомпетентным. Теперь он уже не был вторым, стал главой семьи, старшим, никто не должен был умереть раньше его; проблемы так и посыпались, и ему приходилось доказывать свою состоятельность. Больше никакой податливости – следовало становиться прочнее и крепче, и он стал таким. Но его отношение к женщинам не изменилось. Конечно, теперь он меньше с ними виделся. Какая женщина войдет в бильярдную? Лолли Фьютер к нему не вернулась. А что касается его – ну, я думаю, люди, которые находятся не в лучшей форме, должны предпринимать дополнительные действия, чтобы привести себя в порядок,

браться или тщательно одеваться. Для Эйнхорна наслаждение женщиной – не женой – подразумевало такую подготовку. Видимо, Лолли много для него значила: он не выпускал ее из поля зрения в течение десяти лет, пока ее не застрелил любовник-шофер, отец нескольких детей, которого она втянула в торговлю на черном рынке. Его поймали, ему грозила тюрьма, а Лолли не тронули. Потому он ее и убил со словами: «Не будет твой новый дружок жировать на мои денежки, пока я гнию в тюрьме».

Эйнхорн сохранил вырезки из газет.

– Видишь, он говорит – «жировать». Быть богатой – вот что для нее главное. Я расскажу тебе.

Он хотел, чтобы я это знал. И мог рассказать – не только мне, но и другим людям, занимавшим более высокое положение.

– Бедняжка Лолли!

– Бедная малышка! – отозвался он. – Думаю, она была обречена на такой конец. У нее менталитет «Фрэнки и Джонни». Когда я встречался с ней, она была прекрасна. Роскошная женщина. – Весь седой, усохший за последние годы, он рассуждал о ней с неподдельным жаром. – Говорят, под конец она стала неряшливой и жадной. Это плохо. От беспорядочного траханья много неприятностей. Ей на роду написано умереть насильственной смертью. Людей с горячей кровью просто так не отпускают.

В этих словах сквозило тайное желание, чтобы я вспом-

нил и о его горячей крови. Моя работа ставила меня в особое положение – возможно, он хотел знать мое мнение об их связи или, что по-человечески понятно, считаю ли я этот союз удачным. О, гордость, ты всюду найдешь себе место!

В этом разговоре мне непременно следовало вспомнить свой выпускной вечер. Тогда Эйнхорны были особенно расположены ко мне. Они подарили мне бумажник с десятью долларами, а миссис Эйнхорн лично приехала тем февральским вечером на выпускной бал вместе с Мамой, семействами Клейн и Тамбоу. После официальной церемонии намечалась вечеринка у Клейновых, где меня ждали. Я отвез Маму домой, и хотя мое имя не было специально отмечено, как имя Саймона, она радовалась и, когда я вел ее по лестнице, поглаживала мою руку.

Тилли Эйнхорн ждала меня в машине.

– Поезжай на вечеринку, – сказала она, когда я подвез ее к бильярдной.

То, что я окончил школу, было в ее глазах очень важным событием, и в тоне, с каким она ко мне обращалась, сквозило бесконечное уважение. Она была добрая женщина, многого не понимала; ей хотелось благословить меня, но моя «образованность» вдруг сделала ее робкой. Мы подъехали в темноте к бильярдной, было сыро и холодно; Тилли несколько раз произнесла одну и ту же фразу:

– Уилли говорит, что у тебя хорошая голова. Ты сам будешь учителем.

Перед бильярдной она поцеловала меня в щеку, прижавшись выдавшей лучшие времена котиковой шубой, и слезы радости заструились по ее лицу. Должно быть, ей вспомнилось и мое «сиротство». Одеты мы были хорошо. От шелкового шарфика миссис Эйнхорн и платья с серебряными пуговицами на груди по автомобилю распространялся аромат духов. По тротуару мы прошли к бильярдной. Согласно требованиям закона нижние окна были зашторены, а вверху дождь размыл краску на вывеске. Из-за выпускного вечера народу в бильярдной было мало. Доносился стук шаров от дальних, утопавших в полутьме столов, легкий шум от столиков, где играли в кости, и потрескивание сосисок на гриле. Из глубины зала вышел Дингбат с деревянным треугольным ограничителем, чтобы пожать мне руку.

– Оги едет на вечеринку у Клейна, – сказала миссис Эйнхорн.

– Мои поздравления, сынок, – торжественно произнес Эйнхорн. – Он поедет на вечеринку, Тилли, но не сразу. Я тоже хочу доставить ему удовольствие и поведу на шоу.

– Уилли, – встревожилась жена, – отпусти его. Сегодня его вечер.

– Но я веду его не в соседний кинотеатр, а к Маквике-ру, – у него представление с маленькими девочками, дрессированными зверюшками и французом из кабаре «Бал Табарин», он стоит головой на бутылке. Ну как, Оги? Тебе нравится план? Я еще неделю назад его задумал.

– Конечно. Замечательно. По словам Джимми, вечеринка будет долгой. Я могу и в полночь туда завалиться.

– Уилли, тебя может отвезти Дингбат. Сегодня Оги хочется провести вечер с молодежью – не с тобой.

– Когда меня нет, Дингбат нужен здесь. И он здесь останется, – отрезал Эйнхорн, положив конец спору.

Я не был так возбужден «своим» вечером и потому смутно чувствовал причину настойчивости Эйнхорна – она мелькнула в сознании и исчезла.

Миссис Эйнхорн безвольно опустила руки.

– Когда Уилли чего-нибудь хочет... – В ее голосе слышалось извинение.

Но я был теперь практически членом семьи, ведь никакого наследства уже не существовало. Я застегнул на Эйнхорне плащ и отнес в машину. На ночном воздухе лицо мое покраснелось. Я был раздражен: доставить Эйнхорна в театр – нелегкая работа: надо преодолеть много ступенек и более основательных препятствий. Вначале припарковать машину, затем найти администратора и попросить два места недалеко от выхода, договориться, чтобы открыли противопожарные ворота, въехать во дворик, внести Эйнхорна в театр, опять вывести автомобиль на улицу и там снова припарковаться. А оказавшись в зале, сидеть под углом к сцене. Эйнхорн требовал, чтобы его место было рядом с запасным выходом.

– Представляешь, если случится пожар и начнется паника. Что со мной будет?

Поскольку мы видели спектакль со стороны большой оркестровой ямы, то могли хорошо разглядеть пудру и краску на лицах, но плохо различали голоса – они то гремели, то, напротив, затихали почти до шепота, и мы часто не понимали причину смеха зрителей.

– Скинь скорость, – сказал Эйнхорн на бульваре Вашингтона. – Помедленнее здесь. – Я заметил, что он держит в руке адрес. – Это недалеко от Сакраменто. Надеюсь, Оги, ты не поверил, что я потащу тебя сегодня к Маквикеру. Нет, туда мы не поедem. Я везу тебя в то место, где еще сам не бывал. Вроде бы вход со двора, третий этаж.

Я выключил мотор и пошел на разведку; найдя нужную квартиру, вернулся и взвалил Эйнхорна на плечи. Он называл себя стариком из моря, оседлавшим Синдбада. Можно было назвать его и дряхлым Анхисом, которого из горящей Трои вынес его сын Эней; и этого старика Венера взяла в любовники. Такое сравнение мне нравилось больше. Но вокруг ни огней, ни военных кличей – только ночная тишина на бульваре и лед. Я ступал по узкой цементной дорожке вдоль темных окон, а Эйнхорн громко просил меня быть осторожнее. К счастью, я недавно разобрал шкафчик для обуви и надел галоши, пролежавшие там большую часть года, и сейчас мои ноги не скользили. Но было все равно тяжело – особенно подниматься по деревянным ступеням и подлезать на площадках под веревками для сушки белья.

– Надеюсь, мы попали куда надо, – сказал Эйнхорн, когда

я позвонил в квартиру на третьем этаже, – а то начнут спрашивать, какого черта я здесь делаю.

Он не сомневался, что спрашивать будет именно его.

Но мы позвонили в нужную дверь. Открыла женщина, и я, задыхаясь, спросил:

– Куда?

– Иди дальше, – послышался голос Эйнхорна. – Это всего лишь кухня.

Здесь действительно пахло пивом. Я бережно внес его в гостиную и посадил на глазах у изумленных посетителей на диван. В сидячем положении он почувствовал себя ровней остальным и осмотрел женщин. Я стоял рядом и тоже глядел во все глаза – в волнении и восторге. Отвозя куда-нибудь Эйнхорна, я всегда испытывал огромную ответственность, а сейчас – больше, чем обычно: ведь он, как никогда, зависел от меня. А мне как раз не хотелось волноваться по этому поводу. Однако он, казалось, не ощущал никаких неудобств, имел все тот же уверенный и невозмутимый вид, не чувствовал никакой неловкости оттого, что такой влиятельный человек выглядит беспомощным в щекотливой ситуации.

– Слышал, здесь девушки прелесть, – сказал он, – а теперь и вижу. Выбирай любую.

– Я?

– Конечно, ты. Кто из вас, барышни, хочет развлечь этого красивого паренька, окончившего сегодня школу? Осмотришь, малыш, и не теряй головы, – обратился он уже ко мне.

В гостиную из внутренних покоев вошла хозяйка. Она поражала своим макияжем – лицо, казалось, напудрено порошком от насекомых, глаза подведены сажей, а румяна наложены в виде крыльев мотылька.

– Мистер... – заговорила она.

Но все выяснилось. Эйнхорну кто-то дал рекомендательное письмо, и, как она вспомнила, все было заранее обговорено. Ей, правда, не сказали, что Эйнхорна принесут на руках. Без письма его побоялись бы принять.

Тем не менее все имели несколько смущенный вид; Эйнхорн сидел туфля к туфле, и брюки обтягивали его безжизненные ноги. Когда я думаю об этой сцене отстраненно, мне кажется, что в голосе Эйнхорна, спрашивавшего, кто хочет меня развлечь, уже звучала нотка отвращения к девушке, которую выберет он. Даже здесь, где платит он. Может, я и неправ. Голова моя давала сбои в этом необычном месте, жалком и роскошном притоне, так что, возможно, и Эйнхорн не был столь самоуверенным и раскованным, каким казался.

Наконец Эйнхорн подозвал одну из девушек и спросил:

– Где твоя комната, детка? – И абсолютно спокойно, не обращая внимания на реакцию окружающих, попросил меня отнести его туда.

На кровати лежало розовое покрывало (как я позже понял по контрасту с другими местами, это было первоклассное заведение), девушка сняла его. Я положил Эйнхорна на простыню. Девушка стала раздеваться в углу комнаты, а он

жестом попросил меня нагнуться и прошептал:

– Возьми кошелек. – Я положил в карман тугой кожаный бумажник. – Держи его крепче, – прибавил он.

В его взгляде была смелость, решимость и немного обиды. Не на меня, а на свое положение. Лицо напряженное, волосы разметались по подушке. Эйнхорн заговорил с женщиной приказным тоном:

– Сними с меня туфли!

Она повиновалась. В его взгляде был живой интерес, он жадно осматривал склоненную над его ногами женщину в халатике, ее крепкую шею, красные ногти, выглядывавшие из теплых тапочек.

– Нужно, чтобы вы знали еще пару вещей, – сказал он. – У меня проблемы с позвоночником. Мне надо беречься, пока я не выздоровею, мисс, и все делать осторожно.

– Ты еще здесь? – Он увидел, что я по-прежнему стою у дверей. – Иди же. Тебе надо говорить, что делать? Я пошлю за тобой позже.

Мне ничего не надо было говорить, но я не решался уйти, пока он сам не отослал меня.

Я вернулся в гостиную, где меня ждала одна из женщин, остальные разошлись, из чего я понял, что выбор сделали без меня. Как всегда с незнакомыми людьми, я вел себя так, словно все прекрасно понимаю; мне казалось, что в решающий момент такое поведение самое достойное. Женщина не мешала мне в этом. Ее дело или бремя требовало оставаться

покорной, как велит природа, и пользоваться этим преимуществом. Она была немолода – хозяйка сделала правильный выбор, – с грубоватым лицом, но поощряла меня к любовной игре. Когда она стала раздеваться, я заметил кокетливые оборки и кружева на белье – эти пустячки, подчеркивающие женственность, ее восхитительную, совершенную природу. Я скинул одежду и ждал. Женщина подошла ко мне и обняла за талию. Затем усадила меня на кровать, как будто показывая, для чего та предназначена. Она прижималась ко мне грудью, изгибала спину, закрывала глаза и сжимала мои бедра. Так что я не испытывал недостатка в нежности, и меня не оттолкнули грубо, когда все закончилось. Позже я понял, как мне повезло: она не была со мной равнодушной или язвительной и отнеслась с сочувствием.

Все же, когда возбуждение достигло апогея и ушло, как грозовой разряд в землю, я понял, что в основе всего лишь сделка. Но это было не столь уж важно. Как и кровать, и комната, и мысль, что женщину позабавили – насколько это возможно – мы с Эйнхорном: великий сенсуалист, въезжающий к ним на моих плечах, с налитыми кровью глазами и ненасытным сердцем, однако державшийся спокойно и величественно. Деньги не в счет. Такова городская жизнь. Так что нужного великолепия не было, как и свадебной песни нежных любовников...

Мне пришлось дожидаться Эйнхорна на кухне, и там, в одиночестве, я подумал, что ему ради удовольствия прихо-

дится терпеть над собой насилие. Непохоже, что хозяйке пришлось по душе наш визит. Мужчины появлялись один за другим, она смешивала напитки на кухне и сердито поглядывала в мою сторону, пока не пришла уже одетая подруга Эйнхорна и не позвала меня. Хозяйка пошла со мной за деньгами, и Эйнхорн с присущим ему изяществом расплатился, прибавив щедрые чаевые, а когда я проносил его через гостиную, где моя партнерша курила сигарету, сидя уже с другим мужчиной, Эйнхорн тихо шепнул мне:

– Не глазей по сторонам, хорошо?

Может, он боялся, что его узнают, или сказал это, чтобы я лучше держал равновесие, шагая с ним, прильнувшим к моей спине в темном костюме?

– Будь предельно осторожен, спускаясь вниз, – предупредил он на крыльце. – Жуткая глупость не взять с собой фонарик. Только упасть не хватает. – И он рассмеялся – иронично, но все же рассмеялся. Но о нас позаботились. Из дома вышла одна из проституток – в пальто она выглядела обычной женщиной – и осветила нам путь. Мы вежливо ее поблагодарили и пожелали спокойной ночи.

Я привез Эйнхорна домой и внес в спальню, хотя бильярдная была еще открыта.

– Не укладывай меня в кровать, – сказал он. – Поезжай на вечеринку. Можешь взять машину, только не напивайся и не устраивай гонки. Это все, о чем я прошу.

## Глава 8

С этого времени устанавливается новый курс – нами, для нас: не рискну угадать все причины.

Оглядываясь назад, вижу себя в домашней одежде, глаза зеленовато-серые, взлохмаченные волосы, но, присмотревшись, замечаю, что одет прилично – это свидетельствует о новом социальном статусе. Не знаю, в силу каких причин, но я стал много говорить, отпускать шуточки, давать отпор и иметь собственные убеждения. Не скажу, когда я их обрел, – просто пришло время и они пришли ко мне словно из воздуха.

Государственный колледж, в котором учились мы с Саймоном, хоть и не был семинарией, но управляли там священники, преподававшие учение Аристотеля и софистику и предостерегавшие учеников от европейских развлечений, пороков и прочих вещей, существующих или несуществующих, актуальных или неактуальных; впрочем, подавались они как существующие и актуальные. Учитывая, сколь многое надо было узнать – Асурбанипал<sup>114</sup>, Евклид, Аларик<sup>115</sup>, Меттерних<sup>116</sup>, Мэдисон<sup>117</sup>, Блэкхоук<sup>118</sup>, – решишь вы на это,

---

<sup>114</sup> *Асурбанипал* (VII в. до н. э.) – последний из великих ассирийских царей. При взятии города Дамаска приказал соорудить пирамиду из отрубленных голов.

<sup>115</sup> *Аларик* (370–410) – король вестготов.

<sup>116</sup> *Клеменс Меттерних* (1773–1859) – австрийский государственный деятель,

пришлось бы посвятить науке всю свою жизнь. А студенты были детьми иммигрантов из разных мест – из Хеллз-Китчен<sup>119</sup>, Литл-Сицили<sup>120</sup>, Блэк-Белт<sup>121</sup>, из районов, где проживают поляки, с еврейских улиц Гумбольдт-парка; помимо выхолощенного учебного плана, они набирались и всевозможного жизненного опыта. Люди с разными корнями заполняли длинные коридоры и огромные аудитории, чтобы там подвергнуться обработке, в результате которой, как предполагалось, все они станут американцами. В этой смеси была красота – в приличной пропорции – и высокомерие прыщавого юнца, и предательство и невинность, жующая резинку, рабочие лошадки и будущие секретари, датская стабильность и итальянское вдохновение, и математические гении со слабой грудью; были там отпрыски, которым слон на ухо наступил, и сексуально продвинутые дочери бизнесменов – великолепный отбор из огромной массы, из множества, как в Священном Писании, детей, рожденных родителями, двинувшимися на Запад. Среди них и я – внебрачный сын стран-

---

канцлер, один из организаторов Священного союза.

<sup>117</sup> *Джеймс Мэдисон* (1751–1836) – 4-й президент США.

<sup>118</sup> *Блэкхоук* – вождь индейцев, обитавших в районе Чикаго; индейцы были разбиты в 1832 г., а Блэкхоук взят в плен.

<sup>119</sup> *Хеллз-Китчен* (в переводе «адова кухня») – район бедных ирландских поселенцев.

<sup>120</sup> *Литл-Сицили* – район, где живут выходцы из Сицилии.

<sup>121</sup> *Блэк-Белт* – район на юго-востоке Чикаго, где живет много афроамериканцев.

ника.

При обычных обстоятельствах мы с Саймоном после школы пошли бы работать, но работы не было и государственный колледж заполнили студенты, попавшие в такое же, как и мы, положение из-за безработицы и получившие от городских спонсоров возможность подняться повыше и по чистой случайности познакомиться с Шекспиром и другими великими художниками, а также с естественными науками и математикой в объеме, нужном для поступления на государственную службу. В такой ситуации кое-чего нельзя было избежать; если собирались подготовить бедных молодых людей для выполнения сложных задач или просто спасти от беды, заставив читать книги, от некоторых из них можно было ожидать блестящих результатов. Я знал одного тощего, болезненного мексиканца, такого бедного, что у него и носков-то не было, чумазого, в грязной одежде, который щелкал как орешки все уравнения на доске; или иммигранта из Восточной Европы – гения в греческом языке; головастых физиков; историков, выросших под телегой; знал много настойчивых бедных юнцов, готовых голодать и упорно трудиться почти восемь лет, чтобы стать докторами, инженерами, учеными и специалистами. Я не ставил перед собой таких целей, и никто не побуждал меня их иметь, да и о будущей профессии я особенно не задумывался. Не относился к этому серьезно. Тем не менее мне неплохо давались французский и история. Что до таких предметов, как ботаника, то рисун-

ки мои были неряшливы и несоразмерны, и тут я считался одним из худших студентов. И даже служба в конторе Эйнхорна не приучила меня к аккуратности. Сейчас я работал пять дней по несколько часов и весь день в субботу.

Правда, теперь я трудился не у Эйнхорна, а в отделе женской обуви, расположенном в цокольном этаже центрального магазина; там же в отделе мужских костюмов подвизался Саймон. Его положение изменилось к лучшему, и он был в восторге от перемены. В этом модном магазине руководство требовало, чтобы продавцы хорошо одевались. Но он пошел дальше самых строгих правил и был не просто опрятным, а элегантным – в отличном двубортном костюме в полоску, с сантиметром, небрежно наброшенным на шею. Оказавшись среди всех этих зеркал, ковров, вешалок с одеждой, на восемь этажей выше города, я с трудом узнал брата – такой он был большой, ловкий, сильный, в нем чувствовался мощный темперамент.

Я же работал внизу, в полуподвальном помещении, в отделе уцененных товаров, и видел и слышал покупателей верхнего этажа сквозь зеленые стеклянные круги в бетонированном полу. Тенями мелькали подолы тяжелых шуб; от веса тел и движущихся в разных направлениях ног стекло слегка потрескивало. Наш склеп предназначался для покупателей с тощим кошельком или для особых клиентов: девушек, подбиравших аксессуары или шляпки в тон туалету, или женщин с тремя-четырьмя маленькими дочками, которым сроч-

но потребовались туфельки. Товары вываливались на столы по размерам, у стен громоздились коробки, а в центре стояли табуреты для примерок.

Несколько недель ученичества, и меня перевели на верхний этаж. Сначала я только помогал, бегал за товаром и расставлял коробки по местам, а потом и сам стал продавцом обуви, приняв условие управляющего – коротко подстричься. У управляющего тревожная психика – может, из-за плохого пищеварения. От неукоснительного бритья дважды в день его кожа стала слишком чувствительной, и утром по субботам, когда он напутствовал продавцов перед открытием магазина, в уголках его рта виднелась запекшаяся кровь. Он старался казаться строгим, и, думаю, его проблемы заключались в том, что он занимался не своим делом, руководя работой шикарного магазина. Даже не столько магазина, сколько салона, освещенного французскими светильниками в виде факелов, удерживаемых выступающими из стен руками, украшенного гофрированными шторами и китайской мебелью; такие места защищают от внешнего мира восточные ковры, даже если это рю де Риволи, – ворс впитывает долетающий шум, а шуршание драпировок вынуждает говорить шепотом. К разнице между внешней и внутренней атмосферой трудно привыкнуть; на пороге салона растет напряжение: внутренний протест невозможно подавить; попытка его сдержать ведет к тревоге и беспокойству, грозя вылиться в нечто свирепое и кровавое вроде приключений

Гордона<sup>122</sup>, чартистских бунтов<sup>123</sup> или пламени, взрывающегося ввысь от мощного взрыва. Эта скрытая, избыточная сила струится промозглым, сумрачным чикагским днем от вещей, кажущихся тихими и удобными, а на деле оказывающихся совсем другими.

С финансовой точки зрения дела у нас обстояли более чем хорошо: Саймон получал пятнадцать долларов в неделю без комиссионных, я зарабатывал тринадцать с половиной. На утрату благотворительной опеки мы и внимания не обратили. Практически слепая Мама не могла больше вести хозяйство, и Саймон нанял мулатку по имени Молли Симмс, крепкую поджарую женщину лет тридцати пяти; она спала на кухне – на бывшей кровати Джорджи, и, когда мы возвращались домой поздно, что-то шептала или выкрикивала. Еще Бабуля отучила нас от привычки входить через парадную дверь.

– Это она тебя зовет, малыш, – говорил Саймон.

– Как же! А на кого она все время смотрит?

На Новый год она не появилась, так что я сам все организовал и приготовил еду. Саймона тоже не было – он уехал справлять новогодний праздник в компанию, надев все самое лучшее: котелок, теплый шарф в горошек, гетры, двухцветные туфли, кожаные перчатки. Вернулся он только вече-

---

<sup>122</sup> Патрик Гордон (1635–1699) – участник подавления стрелецкого мятежа 1698 г.; оставил интересные материалы о политической ситуации в России конца XVII века.

<sup>123</sup> Чартизм – первое массовое, политически оформленное революционное движение в Великобритании 1830–1850 гг.

ром следующего дня, когда на улице падал и искрился снег, – грязный, мрачный, с красными глазами и царапинами на лице, которые не скрывала светлая щетина. Этот вспыльчивый и необузданный человек, придя в дом через задний ход, скинул ботинки и щеткой смел с них снег, затем стал рассматривать лицо, словно исхлестанное ветками ежевики, и наконец снял порванный котелок и положил на стул. Счастье, что Мама не могла его видеть; она что-то заподозрила и громко спросила, в чем дело.

– Ничего особенного, Ма, – хором ответили мы.

Чтобы она не поняла, Саймон на жаргоне поведал мне совершенно неправдоподобную историю, будто подрался на платформе Уэллс-стрит с двумя пьяными свирепыми ирландцами, один из которых схватил его за рукав пальто и за воротник, а другой толкнул лицом прямо на проволочные ограждения и сбросил с лестницы. Его рассказ меня не убедил. Оставалось неясным, где он провел день и ночь.

– А Молли Симмс так и не появилась, хотя обещала прийти, – сказал я.

Саймон не отрицал, что провел время с ней, просто сидел совершенно измочаленный на стуле в парадной – а теперь мокрой и грязной – одежде. Он попросил нагреть воды для ванны, а когда снял рубашку, на спине открылись царапины пострашнее тех, что были на лице. Его не волновала моя реакция. Бесстрастно – не хвастаясь и не жалуясь – он поведал, что рано утром был у Молли Симмс. Драка с ирландца-

ми действительно случилась, когда он пьяный возвращался с вечеринки, но исцарапала его Молли. Более того, она не отпускала его дотемна, и ему пришлось ковылять по негрятянскому гетто, утопая в снегу. Забираясь в постель, Саймон сказал, что нам нужно расстаться с Молли Симмс.

– А почему ты говоришь «нам»?

– Она почувствует себя хозяйкой положения, а эта женщина – дикая кошка.

Мы находились в нашей бывшей детской; обои, многократно наклеенные поверх старых, вздулись кое-где пузырями; от летящего за окном снега комната казалась почти уютной.

– Она хочет развития отношений. Так мне и заявила.

– Что именно?

– Что любит меня. – Он безрадостно улыбнулся. – Заводная сука.

– Да ей почти сорок.

– Что с того? Она женщина. И я пошел к ней. И не спрашивал, сколько ей лет, когда на нее полез.

Саймон уволил ее на той же неделе. Я видел, как внимательно всматривалась она за завтраком в его исцарапанное лицо. Молли была худая, похожая на цыганку неглупая женщина; при желании она могла держаться достойно, но, если не хотела, ей было плевать на мнение окружающих, она только ухмылялась, сверкая зелеными глазами. Саймона она не удержала, он видел в ее присутствии одни неудобства, и

Молли сразу смекнула, что ее постараются выставить. Опыта у нее хватало – и все больше отрицательного, отсюда и грубость; ее кидало из города в город, из Вашингтона в Бруклин, оттуда в Детройт, а по пути и в другие Богом забытые места: здесь приласкают, там дадут по шее – всякое бывало. Но гордая Молли ни от кого не ждала жалости, да никто и не пытался ее пожалеть. Саймон ее вышвырнул и нанял Саблонку, старую полячку – вдову, которая нас невзлюбила; эта медлительная, ворчливая, тучная, злобная ханжа еще и плохо готовила. Но мы редко бывали дома. Через несколько недель после ее появления я вообще переехал – бросил колледж и стал жить и работать в Эванстоне. Какое-то время я подвизался в специфических местах – на окраинах, где проживают миллионеры: в Хайленд-парке, Кенилуорте и Уиннетке, – и как продавец, специализирующийся на предметах роскоши, имел дело с аристократами. И все благодаря управляющему, назвавшему мое имя, когда деловой партнер попросил рекомендовать кого-то на это место; он сам привез меня к мистери Ренлингу, торговцу спортивными товарами в Эванстоне.

– Откуда он? – задал вопрос седой, бесстрашный, длинноногий, изысканно одетый человек, по виду похожий на шотландца.

– С северо-запада, – ответил управляющий. – Его брат работает наверху. Хваткие ребята.

– Иудей? – спросил мистер Ренлинг; устремленный на управляющего взгляд по-прежнему ничего не выражал.

– Ты еврей? – повернулся ко мне управляющий. Он знал ответ – просто переадресовывал вопрос.

– Полагаю, да.

– Ага. – Теперь Ренлинг обращался ко мне. – Здесь, на северном берегу, не любят евреев. Впрочем, – улыбнулся он сухо, – кого они вообще любят? Пожалуй, никого. Да они ни о чем и не узнают. – И, снова повернувшись к управляющему: – Как ты думаешь, он может стильно выглядеть?

– У нас он хорошо смотрелся.

– Здесь, на северном берегу, требования выше.

Наверное, только набираемые в услужение рабы проходили подобную проверку или девушки, которых приводили к мадам их матери для обучения искусству обольщения. Он заставил меня снять пиджак, чтобы лучше рассмотреть плечи и ягодицы, и я уже собирался сказать ему, куда он может катиться со своей работой, когда он объявил, что мое безупречное сложение как нельзя лучше подходит для предлагаемой деятельности, и мое тщеславие перевесило самоуважение. Ренлинг тогда произнес:

– Я хочу определить тебя в свой магазин товаров для верховой езды: ну там амазонки, сапоги – все, что нужно для этого вида спорта, разные модные штучки. В период обучения буду платить двадцать баксов в неделю, а когда освоишься – двадцать пять плюс комиссионные.

Естественно, я согласился. Жалованье больше, чем у Саймона.

Я переехал в Эванстон и поселился в студенческом общежитии, где вскоре главной достопримечательностью стал мой гардероб. Возможно, стоило бы сказать «ливрея»: мистер и миссис Ренлинг следили, чтобы я был одет надлежащим образом, – словом, сделали из меня картинку и не жалели денег, выбирая пиджаки из твида, фланелевые брюки и шейные платки, спортивные и плетеные туфли в мексиканском стиле, рубашки – все в соответствии с обслуживанием клиентов, предпочитающих английские товары. Если бы я навел подробные справки об этом месте, то не пошел бы сюда, но теперь меня переполняли любопытство и энтузиазм. Я был прекрасно одет и работал на тенистой улице, за умопомрачительным зеркальным стеклом в модном салоне, в трех шагах от главного магазина Ренлинга, где продавали все для рыбной ловли, охоты, кемпингов, гольфа, тенниса, а также каноэ и бортовые моторы. Теперь понятно, что я имел в виду, говоря, как был изумлен своим продвижением по социальной лестнице и тем, насколько уверенно и эффективно справлялся с обязанностями, обстоятельно, со знанием дела беседуя с богатыми юными девушками, молодыми людьми из загородных клубов и университетскими студентами; в одной руке я держал предлагаемый товар, а в другой – длинный мундштук с сигаретой. И Ренлинг признал, что я преодолел все препятствия. Пришлось взять несколько уроков верховой езды – не много, они слишком дороги. Ренлингу не

требовалось делать из меня первоклассного наездника.

– А зачем? – сказал он. – Вот я продаю коллекционное оружие, а сам не убил за свою жизнь ни одного зверя.

Зато миссис Ренлинг мечтала, чтобы я стал наездником, постоянно чему-нибудь учила и старалась привить хорошие манеры. Она предлагала мне не бросать колледж, а перейти на вечернее обучение. Из четырех работавших со мной мужчин – я был самым молодым – двое окончили колледж.

– А ты, – говорила она, – с твоей внешностью, твоим обаянием, если бы у тебя был диплом... – И рисовала обольстительные картины будущего, словно диплом уже красовался в моих руках.

Миссис Ренлинг умело играла на моем тщеславии.

– Я сделаю из тебя настоящего джентльмена, – обещала она. – Настоящего.

Миссис Ренлинг было около пятидесяти пяти; невысокая, в светлых волосах слегка поблескивала седина, кожа на шее блее, чем на лице, на щеках мелкие красноватые веснушки, глаза ясные, но не кроткие. Легкий акцент – она родом из Люксембурга; предмет особой гордости – знакомство с некоторыми людьми, внесенными в Готский альманах<sup>124</sup>. Иногда она уверяла меня:

– Все это чушь. Я демократка, гражданка этой страны. Я голосовала за Кокса, за Смита и Рузвельта. Не люблю ари-

---

<sup>124</sup> В Готский альманах вписаны имена представителей всех аристократических родов Европы.

стократов. Они хотели присвоить отцовскую землю. Герцогиня Шарлотта молилась в церкви по соседству с нами; она так и не смогла простить французам Наполеона Третьего. Я училась в Брюсселе, когда она умерла.

Миссис Ренлинг переписывалась со многими знатными дамами, обменивалась кулинарными рецептами с немкой из Дорна, имевшей какое-то отношение к семье кайзера.

– Несколько лет назад я ездила в Европу и там встретилась с этой баронессой. Знакомы мы давно. И все-таки они никогда не примут вас полностью в свой круг. «Я теперь американка», – сказала я ей. Угостила ее моими солеными арбузами – там нет ничего даже отдаленно на них похожего, Оги. В ответ она научила меня готовить телячьи почки с коньяком – почти неизвестное блюдо. Сейчас в Нью-Йорке есть один ресторан, там его подают. Даже в кризис людям надо где-то отдохнуть. Она продала свой рецепт за пятьсот долларов. Я бы никогда так не поступила. Готовила бы этот деликатес только для своих друзей; мое мнение: низко торговать старыми фамильными секретами.

Миссис Ренлинг прекрасно стряпала – обладала таким талантом и досконально продумывала меню своих обедов. Или тех, что организовывала в других местах: могла взяться за это для друзей.

В их круг входила жена управляющего гостиницей в Сидингтоне, семья ювелиров Влетолд, продававших «экипаж-

ной публике»<sup>125</sup> тяжелые, украшенные гербами блюда для фруктов размером с цимбалы и соусники в виде корабля аргонатов, а также вдова мужчины, замешанного в скандале вокруг «Типот-доум»<sup>126</sup>, – сама она разводила далматинцев. И еще несколько человек такого же социального уровня. Для новых друзей, не отведавших еще телячьих почек, она готовила блюдо дома и приносила к их столу. Миссис Ренлинг страстно любила кормить людей и часто стряпала для нас, продавцов; она не терпела, чтобы мы ели в ресторанах, и утверждала своим бесстрастным голосом иностранки (никто не осмеливался ей перечить), что там еда невкусная и несвежая.

Именно так обстояли дела – миссис Ренлинг не позволялось перебивать или останавливать, когда она была в ударе. Она могла приготовить вам еду, если ей того хотелось, кормить вас, учить, инструктировать, играть с вами в маджонг<sup>127</sup>, и вы не могли этому сопротивляться: столько в ней было силы и напора, несмотря на блеклые глаза и рыжеватые веснушки, проступавшие сквозь пудру на лице и жилистых руках. Миссис Ренлинг решила, что я должен изучать рекламный бизнес на отделении журналистики в универси-

---

<sup>125</sup> Речь идет о богатых театралах начала XX в.

<sup>126</sup> «Типот-доум» – нефтяное месторождение в штате Вайоминг, ставшее в 1921–1922 гг. центром скандала, в котором оказались замешаны члены администрации президента Гардинга.

<sup>127</sup> *Маджонг мацзян* – китайская игра в шашки (фишки).

тете, сама оплатила учебу, и мне ничего не оставалось, как приступить к занятиям. Но и этого ей показалось мало, и она подобрала мне еще несколько курсов, необходимых для получения степени, упирая на то, что образованный человек может добиться в Америке всего, чего хочет, выделяясь из общей массы, как свеча, зажженная во тьме шахты.

Я вел напряженную жизнь и временами до неприличия гордился своим новым статусом – тем, что вечерами занимался в университете или читал в библиотеке книги по истории и хитроумные пособия, как стимулировать покупательский спрос; ходил играть в бридж или маджонг в обитую шелком гостиную миссис Ренлинг, где был то ли лакеем, то ли родственником – разносил сладости, открывал имбирный эль в буфетной, но при этом не выпускал изо рта мундштук. Ловкий, услужливый, с легким намеком на флирт, с блестящими от бриллиантина волосами, цветком в петлице, пахнувший вересковым лосьоном, хотя не отказывался от чаевых, данных от души или по протоколу, хотя позже выяснил, что часть денег перепала мне экспромтом – многие не знали, как себя со мной держать. Душой общества была миссис Ренлинг, ее лидерство не подвергалось сомнению. Мистер Ренлинг с ней не соперничал – играл в карты или домино, безучастный ко всему остальному, и больше молчал, а миссис Ренлинг говорила что хотела, не обращая внимания на замечания других. Впрочем, эти замечания, касавшиеся в основном слуг, безработицы и правительства, были абсолютно

банальны. Ренлинг это знал, но ему было наплевать. Здесь собрались его партнеры по бизнесу – деловому человеку положено их иметь. Он и сам навещал друзей или приглашал к себе и никогда не критиковал, и они тоже этого себе не позволяли.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.